



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.  
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



Gift of  
The Thorne Foundation



**STANFORD  
UNIVERSITY  
LIBRARIES**



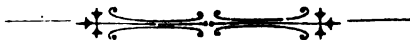


7

• Korolenko, V. G.  
=

В. КОРОЛЕНКО.

# ВЪ ДУРНОМЪ ОБЩЕСТВѢ.



МОСКВА.

Тип. И. Ермакова. Пятницкая улица, близь Серпуховскихъ воротъ, соб. домъ.

1894.

PG 3467

K6V3

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 8 Апрѣля 1893 г.

# ВЪ ДУРНОМЪ ОБЩЕСТВѢ.

(Изъ дѣтскихъ воспоминаній моего пріятеля).

## I.

### Развалины.

...Моя мать умерла, когда мнѣ было шесть лѣтъ. Отецъ, весь отдавшись своему горю, какъ будто совсѣмъ забылъ о моемъ существованіи. Порой онъ ласкалъ мою маленькую сестру и по своему заботился о ней, потому что въ ней были черты матери. Я же росъ, какъ дикое деревцо въ полѣ; никто не окружалъ меня особенной заботливостью, но никто и не стѣснялъ моей свободы.

Мѣстечко, гдѣ мы жили, называлось Княжье-вѣно или, проще, Князь-городокъ. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и представляло всѣ типическія черты любого изъ мелкихъ городовъ юго-западнаго края, гдѣ среди тихо струящейся жизни тяжелаго труда и мелко-суетливаго еврейскаго гешефта доживаютъ свои печальные дни жалкіе останки гордаго панскаго величія.

Если вы подъѣзжаете къ мѣстечку съ востока, вамъ, прежде всего, бросается въ глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшеніе города. Самый городокъ раскинулся внизу надъ сонными заплѣсневѣвшими прудами, и къ нему при-

ходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиціонной „заставой“. Сонный инвалидъ, порыжѣлая на солнцѣ фигура, олицетвореніе безмятежной дремоты, лѣнливо подымаетъ шлагбаумъ, и вы въ городѣ, хотя, быть можетъ, не замѣчаете этого сразу. Стѣрые заборы, пустыри съ кучами всякаго хлама понемногу перемежаются съ подслѣповатыми, ушедшими въ землю „хатками“. Далѣе широкая площадь зѣяетъ въ разныхъ мѣстахъ темными воротами еврейскихъ „заѣзжихъ домовъ“; казенныя учрежденія наводятъ уныніе своими бѣлыми стѣнами и казарменно-ровными линіями. Деревянный мостъ, перекинутый черезъ узкую рѣчушку, кряхтитъ, вздрагивая подъ колесами, и шатается, точно дряхлый старикъ. За мостомъ потянулась еврейская улица съ магазинами, лавками, лавчонками, столами евреевъ-мѣняль, сидящихъ подъ зонтами на тротуарахъ, и съ навѣсами калачницъ. Вонь, грязь, кучи ребятъ, ползающихъ въ уличной пыли. Но вотъ еще минута, и вы уже за городомъ. Тихо шепчутся березы надъ могилами кладбища, да вѣтеръ волнуетъ хлѣба на нивахъ и звенить унылой, безконечной пѣсней въ проволокахъ придорожнаго телеграфа.

Рѣчка, черезъ которую перекинутъ упомянутый мостъ, текла изъ пруда и падала въ другой. Такимъ образомъ, съ сѣвера и юга городокъ ограждался широкими водяными гладами и топиями. Пруды годъ отъ году мелѣли, заросли зеленью и высокіе густые камыши волновались, какъ море, на громадныхъ болотахъ. Посрединѣ одного изъ прудовъ находился островъ. На островѣ—старый, полуразрушенный замокъ.

Я помню, съ какимъ страхомъ я смотрѣлъ всегда на это величавое дряхлое зданіе. О немъ ходили преданія и рассказы одинъ другаго страшнѣе. Говорили, что островъ насыпанъ искусственно руками плѣнныхъ турокъ. „На костяхъ человѣческихъ стоитъ старое замчище“,—передавали старожилы, и мое дѣтское испуганное воображеніе рисовало подъ землей тысячи турецкихъ скелетовъ, поддерживаю-

щихъ костлявыми руками островъ съ его высокими пирамидальными тополями и старымъ замкомъ. Отъ этого, понятно, замокъ казался еще страшнѣе, и даже въ ясные дни, когда, бывало, ободренные свѣтомъ и громкими головами птицъ, мы подходили къ нему поближе, онъ нерѣдко наводилъ на насъ припадки паническаго ужаса; такъ страшно глядѣли на насъ черныя впадины давно выбитыхъ оконъ; въ пустыхъ залахъ ходилъ таинственный шорохъ: камешки и штукатурка, отрываясь, падали внизъ, будя гулкое эхо, и мы бѣжали безъ оглядки, а за нами долго еще стояли стукъ, и топотъ, и гоготанье.

А въ бурныя осеннія ночи, когда гиганты-тополи качались и гудѣли отъ налетавшаго изъ-за прудовъ вѣтра, ужасъ разливался отъ стараго замка и царилъ надъ всѣмъ городомъ. „Ой вей-миръ“, — пугливо произносили евреи; богобоязненные старыя мѣщанки крестились и даже нашъ ближайшій сосѣдь кузнецъ, отрицавшій самое существованіе бѣсовской силы, выходя въ эти часы на свой дворикъ, творилъ крестное знаменіе и шепталъ про себя молитву объ упокоеніи усопшихъ.

Старый сѣдобородый Янушъ, за неимѣніемъ квартиры пріютившійся въ одномъ изъ подваловъ замка, рассказывалъ намъ неоднократно, что въ такія ночи онъ явственно слышалъ, какъ изъ-подъ земли неслись крики. Турки начинали возиться подъ островомъ, стучали костями и громко укоряли пановъ въ жестокости. Тогда въ залахъ стараго замка и вокругъ него на островѣ бряцало оружіе и паны громкими криками сзывали гайдуковъ. Янушъ слышалъ совершенно явственно подъ ревъ и завываніе бури топотъ коней, звяканье сабель, слова команды. Однажды онъ слышалъ даже, какъ покойный ірадѣдъ нынѣшнихъ графовъ, прославленный на вѣчныя вѣки своими кровавыми подвигами, выѣхалъ, стуча копытами своего аргамака, на середину острова и неистово ругался: „Молчите тамъ, лайдаки! пся вяра!“

Потомки этого графа давно уже оставили жилище предковъ. Большая часть дукатовъ и всякихъ сокровищъ, отъ которыхъ прежде ломились сундуки графовъ, перешла за



мость, въ еврейскія лачуги. и послѣдніе представители славнаго рода выстроили себѣ прозаическое бѣлое зданіе на горѣ, подальше отъ города. Тамъ протекало ихъ скучное, но все же торжественное существованіе въ презрительно-величавомъ уединеніи. Изрѣдка только старый графъ, такая же мрачная развалина, какъ и замокъ на островѣ, появлялся въ городѣ на своей старой англійской клячѣ. Рядомъ съ нимъ, въ черной амазонкѣ, величавая и сухая, проѣзжала по городскимъ улицамъ его дочь, а сзади почтительно слѣдовалъ шталмейстеръ. Величественной графинѣ суждено было навсегда остаться дѣвой. Равные ей по происхожденію женихи, въ погонѣ за деньгами купеческихъ дочекъ за границей, молодушно разсѣялись по свѣту, оставивъ родовые замки или продавъ ихъ на словъ жидамъ, а въ городишкѣ, разстилавшемся у подножія ея дворца, не было юноши, который бы осмѣлился поднять свои взоры на красавицу-графиню. Завидѣвъ этихъ трехъ всадниковъ, мы, малые ребята, какъ стая птицъ, снимались съ мягкой уличной пыли и, быстро разсѣявшись по дворамъ, испуганно-любопытными глазами слѣдили за мрачными владѣльцами стараго замка.

Въ западной сторонѣ, на горѣ, среди истлѣвшихъ крестовъ и провалившихся могилъ стояла давно заброшенная уніатская часовня. Это была родная дочь разстилавшагося въ долинѣ собственно-обывательскаго города. Нѣкогда въ ней собирались, по звону колокола, горожане въ чистыхъ, хотя и не роскошныхъ „кунтушахъ“, съ палками въ рукахъ. вмѣсто сабель, которыми гремѣла мелкая „шляхта“, тоже являвшаяся на звонъ звонкаго уніатскаго колокола изъ окрестныхъ деревень и хуторовъ.

Отсюда былъ видѣнъ островъ и его темные громадные тополи, но замокъ сердито и презрительно закрывался отъ часовни густою зеленью, и только въ тѣ минуты, когда юго-западный вѣтеръ врывался изъ-за камышей и налеталъ на островъ, тополи гулко качались и изъ-за нихъ проблескивали окна, и замокъ, казалось, кидалъ на часовню угрюмые взгляды. Теперь и онъ, и она были трупы. У него глаза

потухли и въ нихъ не сверкали отблески вечерняго солнца, у нея кое-гдѣ провалилась крыша, стѣны осыпались и, вмѣсто гулдаго, съ высокимъ тономъ, мѣднаго колокола, совы заводили въ ней по ночамъ зловѣщія пѣсни.

Но старая, историческая рознь, раздѣлявшая нѣкогда гордый панскій замокъ и мѣщанскую уніатскую часовню, продолжалась и послѣ ихъ смерти: ее поддерживали копошившіеся въ этихъ дряхлыхъ трупахъ черви, занимавшіе удѣлѣвшіе углы, подземелья, подвалы. Этими могильными червями умершихъ зданій были люди.

Было время, когда старый замокъ служилъ даровымъ убѣжищемъ всякому бѣдняку безъ малѣйшихъ ограниченій. Все, что не находило себѣ мѣста въ городѣ, всякое выскочившее изъ колеи существованіе, потерявшее, по той или другой причинѣ, возможность платить хотя бы и жалкіе гроши за кровъ и уголь на ночь и въ непогоду,—все это тянулось на островъ и тамъ, среди мрачныхъ, грозившихъ паденіемъ развалинъ, преклоняло свои побѣдныя головушки, платя за гостепріимство лишь рискомъ быть погребенными подъ грудами стараго мусора. „Живеть въ замкѣ“,—эта фраза стала формулой для выраженія крайней степени нищеты и гражданскаго паденія. Старый замокъ радушно принималъ и покрывалъ и перекатную голь, и временно обнищавшаго писца, и сиротливыхъ старушекъ, и безродныхъ бродягъ. Всѣ эти существа терзали внутренности дряхлаго зданія, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили, чѣмъ-то питались,—вообще, отправляли неизвѣстнымъ образомъ свои жизненные функціи.

Однако, настали дни, когда среди этого общества, ютившагося подъ кровомъ сѣдыхъ руинъ, возникло раздѣленіе, пошли раздоры. Тогда старый Янушъ, бывшій нѣкогда однимъ изъ мелкихъ графскихъ „оффиціалистовъ“, выхлопоталъ себѣ нѣчто вродѣ владѣтельной хартіи и узурпировалъ бразды правленія. Онъ приступилъ къ преобразованіямъ, и нѣсколько дней на островѣ стоялъ такой шумъ, раздавались такіе вопли, что по временамъ казалось, ужь не

турки ли вырвались изъ подземныхъ темницъ, чтобы отомстить утѣснителямъ-панамъ. Это Янушъ сортировалъ население развалинъ, отдѣляя овецъ отъ козлищъ. Овцы, оставшіяся, попрежнему, въ замкѣ, помогали Янушу изгонять несчастныхъ козлищъ, которыя упирались, выказывая отчаянное, но бесполезное сопротивленіе. Когда, наконецъ, при молчаливомъ, но, тѣмъ не менѣе, довольно существенномъ содѣйствіи будочника порядокъ вновь водворился на островѣ, то оказалось, что переворотъ имѣлъ рѣшительно аристократическій характеръ. Янушъ оставилъ въ замкѣ только „добрыхъ христіанъ“, т.-е. католиковъ и, притомъ, преимущественно бывшихъ слугъ или потомковъ слугъ графскаго рода. Это были все какіе-то старики въ потертыхъ сюртукахъ и „чамаркахъ“ съ громадными синими носами и суковатыми палками; старухи, крикливыя и безобразныя, но сохранившія на послѣднихъ ступеняхъ обнищанія свои капоры и салоны. Всѣ они составили однородный, тѣсно сплоченный аристократическій кружокъ, взявшій какъ бы монополію признаннаго нищенства. Въ будни эти старики и старухи ходили, съ молитвой на устахъ, по домамъ болѣе зажиточныхъ горожанъ и среднего мѣщанства, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и кланча. А по воскресеньямъ они же составляли почетнѣйшихъ лицъ изъ той публики, что длинными рядами выстраивалась около костеловъ и величественно принимала подачки во имя „пана Іисуса“ и „панни Богоматери“.

Привлеченные шумомъ и криками, которые во время этой революціи неслись съ острова, я и нѣсколько моихъ товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, какъ Янушъ, во главѣ цѣлой арміи красноносыхъ старцевъ и безобразныхъ мегеръ, гналъ изъ замка послѣднихъ, подлежащихъ изгнанію жильцовъ. Наступалъ вечеръ. Туча, нависшая надъ высокими вершинами тополей, уже сыпала дождикомъ. Какія-то несчастныя темныя личности, запахиваясь изорванными до-нельзя лохмотьями, испуганныя, жалкія и сконфуженныя, сова-

лись по острову, точно кроты, выгнанные изъ норъ мальчишками, стараясь вновь незамѣтно шмыгнуть въ какое-нибудь изъ отверстій замка. Но Янушъ и мегеры съ крикомъ и ругательствами гоняли ихъ отовсюду, угрожая кочергами и палками, а въ сторонѣ стоялъ молчаливый будочникъ, тоже съ увѣсистой дубиной въ рукахъ и сохранявшій вооруженный пейтралитетъ, очевидно, дружественный торжествующей партіи. И несчастныя темныя личности поневолѣ, понурясь, скрывались за мостомъ, навсегда оставляя островъ, и одна за другой тонули въ слякотномъ сумракѣ быстро спускавшагося вечера.

Съ этого памятнаго вечера и Янушъ, и старый замокъ, отъ котораго прежде вѣяло на меня какимъ-то смутнымъ величіемъ, потеряли въ моихъ глазахъ всю свою привлекательность. Бывало, я любилъ приходить на островъ и хотѣ издали любоваться его сѣрыми стѣнами и замшевною старою крышей. Когда на зарѣ изъ него выползали разнообразныя фигуры, зѣвавшія, кашлявшія и крестившіяся на солнце, я и на нихъ смотрѣлъ съ какимъ-то уваженіемъ, какъ на существа, облеченныя той же таинственностью, которой былъ окутанъ весь замокъ. Они спятъ тамъ ночью, они слышатъ все, что тамъ происходитъ, когда въ огромныя залы сквозъ выбитыя окна заглядываетъ луна или когда въ бурю въ нихъ врывается вѣтеръ. Я любилъ слушать, когда, бывало, Янушъ, усѣвшись подъ тополями, съ болтливостью 70-ти лѣтняго старика начиналъ рассказывать о славномъ прошломъ умершаго зданія. Передъ дѣтскимъ воображеніемъ вставали, оживая, образы прошедшаго и въ душу вѣяло величавою грустью и смутнымъ сочувствіемъ къ тому, чѣмъ жили нѣкогда понурья стѣны, и романтическія тѣни чужой старины пробѣгали въ юной душѣ, какъ пробѣгаютъ въ вѣтренный день легкія тѣни облаковъ по свѣтлой зелени чистаго поля.

Но съ того вечера и замокъ, и его бардъ явились передомной въ новомъ свѣтѣ. Встрѣтивъ меня на другой день вблизи острова, Янушъ сталъ зазывать меня къ себѣ, увѣ-

рая съ довольнымъ видомъ, что теперь „сынъ такихъ почтенныхъ родителей“ смѣло можетъ посѣтить замокъ, такъ какъ найдетъ въ немъ вполне порядочное общество. Онъ даже привелъ меня за руку къ самому замку, но тутъ я со слезами вырвалъ у него свою руку и пустился бѣжать. Замокъ сталъ мнѣ отвратителенъ. Окна въ верхнемъ этажѣ были заколочены, а низъ находился во владѣніи капоровъ и салоповъ. Старухи выползали оттуда въ такомъ непривлекательномъ видѣ, льстили мнѣ такъ приторно, ругались между собой такъ громко, что я искренно удивлялся, какъ это строгій покойникъ, усмиравшій турокъ въ бурныя ночи, могъ терпѣть этихъ мегеръ въ своемъ сосѣдствѣ. Но, главное, я не могъ забыть холодной жестокости, съ которой торжествующіе жильцы замка гнали своихъ несчастныхъ сожителей, а при воспоминаніи о темныхъ личностяхъ, оставшихся безъ крова, у меня сжималось сердце.

Какъ бы то ни было, на примѣрѣ стараго замка я узналъ впервые истину, что отъ великаго до смѣшнаго одинъ только шагъ. Великое въ замкѣ порасло плющемъ и павиликой, а смѣшное казалось мнѣ отвратительнымъ, слишкомъ рѣзало дѣтскую воспріимчивость, такъ какъ иронія эти контрастовъ была мнѣ еще недоступна.

## II.

### Проблематическія натуры.

Нѣсколько ночей послѣ описаннаго переворота на островѣ городъ провелъ очень безпокойно: лаяли собаки, скрипѣли двери домовъ и обыватели, то и дѣло выходя на улицу, стучали палками по заборамъ, давая кому-то знать, что они бодрствуютъ. Городъ зналъ, что по его улицамъ въ ненастной тьмѣ дождливой ночи бродятъ люди, которымъ голодно и холодно, которые дрожатъ и мокнутъ; понимая, что въ сердцахъ этихъ людей способны зародиться въ отношеніи къ нему лишь жестокія чувства, городъ насторожился и на

встрѣчу этимъ чувствамъ высылалъ лишь угрозу. А ночь, какъ нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя надъ землею низко бѣгущія тучи. И вѣтеръ бушевалъ среди ненастья, качая верхушки деревьевъ, стуча ставнями и напѣвая мнѣ въ моей постели о десяткахъ людей, лишенныхъ тепла и крова.

Но вотъ весна окончательно восторжествовала надъ послѣдними порывами зимы, солнце высушило землю и, вмѣстѣ съ тѣмъ, бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачій лай по ночамъ уgomонился, обыватели перестали стучать по заборамъ и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своей колеей. Горячее июньское солнце, выкатываясь на небо, жгло пыльные улицы, загоняя подъ навѣсы юркихъ сыновъ Израиля, торговавшихъ въ городскихъ лавкахъ; „факторы“ лѣниво валялись на солнцепекѣ, зорко выглядывая проѣзжающихъ и „гешефты“; скрипъ чиновничьихъ перьевъ слышался въ открытыя окна присутственныхъ мѣстъ: по утрамъ городекія дамы сновали съ корзинами по базару, а подъ вечеръ важно выступали подъ руку съ своими благовѣрными, подымая уличную пыль пышными шлейфами. Старики и старухи изъ замка чинно ходили по домамъ своихъ покровителей, не нарушая общей гармоніи. Обыватель охотно призналъ ихъ право на существованіе, находя, совершенно основательно, чтобы кто-нибудь получалъ милостыню по субботамъ, а обитатели стараго замка получали ее вполне респектабельно.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь въ городѣ своей колеи. Правда, они не слонялись по улицамъ ночью; говорили, что они нашли пріюгъ гдѣ-то на горѣ, около уніатской часовни, но какъ они ухитрились пристроиться тамъ, никто не могъ сказать въ точности. Всѣ видѣли только, что съ той стороны, съ горъ и овраговъ, окружавшихъ часовню, спускались въ городъ по утрамъ самыя невѣроятныя и подозрительныя фигуры, которыя въ сумерки удалялись въ томъ же направленіи. Своимъ появленіемъ онѣ возмущали тихое и дремливое теченіе городской жизни, выдѣляясь на сѣренькомъ фонѣ мрачными пятнами. Обы-

ватели косились на нихъ съ враждебной тревогой; онѣ, въ свою очередь, окидывали обывательское существованіе спокойно внимательными взглядами, отъ которыхъ многимъ становилось жутко. Эти фигуры нисколько не походили на аристократическихъ нищихъ изъ замка; городъ ихъ не признавалъ, да и онѣ и не просили признанія; ихъ отношенія къ городу имѣли чисто боевой характеръ: онѣ предпочитали ругать обывателя, чѣмъ льстить ему; брать самимъ, чѣмъ выпрашивать. Онѣ или жестоко страдали отъ преслѣдованій, если были слабы, или заставляли страдать обывателей, если обладали нужной для этого силой. Притомъ, какъ это случается нерѣдко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцевъ встрѣчались лица, которыя по уму и талантамъ могли бы сдѣлать честь избраннѣйшему обществу замка, но не ужились въ немъ и предпочли демократическое общество уніатской часовни. Нѣкоторыя изъ этихъ фигуръ были отмѣнены чертами глубокаго трагизма.

До сихъ поръ я помню очень живо, какъ весело грохотала улица, когда по ней проходила согнутая, унылая фигура стараго „профессора“. Это было тихое, угнетенное идиотизмомъ существо, въ старой фризовой шинели, въ шапкѣ съ огромнымъ козырькомъ и почернѣвшей кокардой. Ученое званіе, какъ кажется, было присвоено ему вслѣдствіе смутнаго преданія, будто гдѣ-то и когда-то онъ былъ гувернеромъ. Трудно себѣ представить существо болѣе безобидное и смирное. Обыкновенно онъ тихо бродилъ по улицамъ, повидимому, безъ всякой опредѣленной цѣли, съ тусклымъ взглядомъ и понуренной головой. Досужіе обыватели знали за нимъ два качества, которыми пользовались въ видахъ жестокаго развлечения. „Профессоръ“ вѣчно бормоталъ что-то про себя, но ни одинъ человѣкъ не могъ разобрать въ этихъ рѣчахъ ни слова. Онѣ лились точно журчаніе мутнаго ручейка и при этомъ тусклые глаза глядѣли на слушателя, какъ бы старась вложить въ его душу неуволимый смыслъ длинной рѣчи. Его можно было завести, какъ машину; для этого любому изъ долговязыхъ



факторовъ, дремавшихъ на улицахъ, стоило подозвать къ себѣ старика и предложить какой-либо вопросъ. Профессоръ покачивалъ головой, вдумчиво вперивъ въ слушателя свои выпуклые глаза, и начиналъ бормотать что-то до безконечности грустное. При этомъ слушатель могъ спокойно уйти или хотя бы заснуть, и все же, проснувшись, онъ увидѣлъ бы надъ собой печальную, темную фигуру, все также тихо бормочущую непонятныя рѣчи. Но само по себѣ, это обстоятельство не составляло еще ничего особенно интереснаго. Главный эффектъ уличныхъ верзилъ былъ основанъ на другой чертѣ профессорскаго характера: несчастный не могъ равнодушно слышать упоминанія о рѣжущихъ и колющихъ орудіяхъ. Поэтому, обыкновенно, въ самый разгаръ непонятной элоквенціи слушатель, вдругъ поднявшись съ земли, вскрикивалъ рѣзкимъ голосомъ: „Ножи, ножницы, иголки, булавки!“ Тогда бѣдный старикъ, такъ внезапно пробужденный отъ своихъ мечтаній, взмахивалъ руками, точно подстрѣленная птица, испуганно озирался и хватался за грудь. О, сколько страданій остаются непонятными долговязымъ факторамъ лишь потому, что страдающій не можетъ внушить представленія о нихъ посредствомъ здороваго удара кулакомъ! А бѣдняга-профессоръ только озирался съ глубокой тоской, и невыразимая мука слышалась въ его голосѣ, когда, обращая къ мучителю свои тусклые глаза, онъ говорилъ, судорожно царапая пальцами по груди:

— За сердце... за сердце крючкомъ!... за самое сердце!...

Вѣроятно онъ хотѣлъ сказать, что этими криками у него истерзано сердце, но, повидимому, это-то именно обстоятельство и способно было нѣсколько развлечь досужаго и скучающаго обывателя. И бѣдный профессоръ торопливо удалялся, еще ниже опуская голову, точно опасаясь удара, а за нимъ гремѣли раскаты довольнаго смѣха и досужіе обыватели выскакивали на улицу, а въ воздухѣ, точно удары кнута, хлестали все тѣ-же крики: „Ножи, ножницы, иголки, булавки!“

Надо отдать справедливость изгнанникамъ изъ замка: они крѣпко стояли другъ за друга, и если на толпу, преслѣдовавшую профессора, налеталъ въ это время съ двумя, тремя оборванцами панъ Туревичъ или въ особенности отставной штыкъ-юнкеръ Заусайловъ, то многихъ изъ этой толпы постигала жестокая кара. Штыкъ-юнкеръ Заусайловъ, обладавшій громаднымъ ростомъ, сизобогровымъ носомъ и свирѣпо выкаченными глазами, давно уже объявилъ открытую войну всему живущему, не признавая ни перемирій, ни нейтралитетовъ. Всякій разъ ~~послѣ~~ того, какъ онъ натыкался на преслѣдуемаго профессора, долго не смолкали его бранные крики; онъ носился тогда по улицамъ подобно Тамерлану, уничтожая все, попадавшееся на пути грознаго шествія; такимъ образомъ, онъ практиковалъ еврейскіе погромы задолго до ихъ возникновенія въ широкихъ размѣрахъ; попадавшихся ему въ плѣнъ евреевъ онъ всячески истязалъ, а надъ еврейскими дамами совершалъ гнусности, пока, наконецъ, экспедиція бравого штыкъ-юнкера не кончалась на съѣзжей, куда онъ неизмѣнно водворялся послѣ жестокихъ схватокъ съ бутарами, причемъ обѣ стороны проявляли не мало геройства.

Другую фигуру, доставлявшую обывателямъ развлеченіе зрѣлищемъ своего несчастія и паденія, представлялъ отставной и совершенно спившійся чиновникъ Лавровскій. Обыватели помнили еще недавнее время, когда Лавровскаго величали не иначе, какъ „панъ писарь“, когда онъ ходилъ въ вицъ-мундирѣ съ мѣдными пуговицами, повязывая шею восхитительными цвѣтными платочками. Вѣроятно, это обстоятельство только придавало болѣе пикантности зрѣлищу его настоящаго положенія. Переворотъ въ жизни пана Лавровскаго совершился быстро: для этого стоило только приѣхать въ Княжье-вѣно блестящему драгунскому офицеру, который прожилъ въ городѣ всего двѣ недѣли, но въ это время успѣлъ побѣдить и увезти съ собою бѣлокурую панну, дочь богатаго трактирщика. Съ тѣхъ поръ обыватели ничего не слыхали о красавицѣ Анѣ, такъ какъ она навсегда исчезла съ ихъ горизонта. А Лавровскій остался со

всеми своими цвѣтными платочками, но безъ надежды, которая скрашивала раньше жизнь мелкаго чиновника. Теперь онъ уже давно не служилъ. Гдѣ-то въ маленькомъ мѣстечкѣ осталась его семья, для которой онъ былъ нѣкогда надеждой и опорой; но теперь онъ ни о чемъ не заботился. Въ рѣдкія трѣзвыя минуты жизни онъ быстро проходилъ по улицамъ, потупясь и ни на кого не глядя, какъ бы подавляемый стыдомъ собственнаго существованія; ходилъ онъ оборванный, грязный, обросшій длинными, нечесаными волосами, выдѣляясь сразу изъ толпы и привлекая всеобщее вниманіе; но самъ онъ какъ будто не замѣчалъ никого и ничего не слышалъ. Изрѣдка только онъ кидалъ кругомъ безумные взгляды, въ которыхъ отражалось недоумѣніе: чего хотятъ отъ него эти чужіе и незнакомые ему люди? Что онъ имъ сдѣлалъ и почему они такъ упорно преслѣдуютъ его своими насмѣшками? Порой, въ минуты этихъ проблесковъ сознанія, когда до слуха его долетали имя панны съ бѣлокурой косой, въ сердцѣ его поднималось бурное бѣшенство; глаза Лавровскаго загорались мрачными пламенемъ на блѣдномъ лицѣ и онъ со всѣхъ ногъ кидался на встрѣчу толпѣ, которая быстро разбѣгалась. Подобныя вспышки, хотя и очень рѣдкія, странно подзадоривали любопытство скупающаго бездѣлья; немудрено поэтому, что, когда Лавровскій, потупясь, проходилъ по улицамъ, слѣдовавшая за нимъ толпа, безуспѣшно старавшаяся вывести его изъ апатіи, начинала съ досады швырять въ него грязью и камнями.

Когда же Лавровскій бывалъ пьянъ, то какъ-то упорно выбиралъ темные углы подъ заборами, никогда не просыхавшія лужи и тому подобныя экстраординарныя мѣста, гдѣ онъ могъ рассчитывать, что его не замѣтятъ. Тамъ онъ садился, вытянувъ длинныя ноги и свѣсивъ на грудь свою побѣдную головушку. Уединеніе и водка вызывали въ немъ приливъ откровенности, желаніе излить тяжелое горе, угнетающее душу, и онъ начиналъ безконечныя повѣствованія о своей молодой, загубленной жизни. При этомъ онъ обращался къ сѣрымъ столбамъ стараго забора, къ березкѣ,

снисходительно шептавшей что-то надъ его головой, къ сорокамъ, которыя съ бабыимъ любопытствомъ подскакивали къ этой мрачной, слегка только копошившейся фигурѣ.

Если кому-либо изъ насъ, малыхъ ребятъ, удавалось выслѣдить его въ этомъ положеніи, мы тихо окружали его и слушали съ замираніемъ сердечнымъ длинныя и ужасающіе рассказы. Волосы становились у насъ дыбомъ и мы со страхомъ смотрѣли на блѣднаго человѣка, обвинявшаго себя во всевозможныхъ преступленіяхъ. Если вѣрить собственнымъ словамъ Лавровскаго, онъ убилъ роднаго отца, вогналъ въ могилу мать, заморилъ сестеръ и братьевъ. Мы не имѣли причинъ не вѣрить этимъ ужаснымъ признаніямъ и насъ только удивляло то обстоятельство, что у Лавровскаго было, повидимому, нѣсколько отцовъ, такъ какъ одному онъ пронзалъ мечомъ сердце, другаго изводитъ медленнымъ ядомъ, третьяго топилъ въ какой-то пучинѣ. Мы слушали, объятые ужасомъ и участіемъ, пока языкъ Лавровскаго, все болѣе заплетавшійся, не отказывался, наконецъ, произносить членораздѣльные звуки и благодѣтельный сонъ прекращалъ покаинныя изліянія. Взрослые смѣялись надъ нами, говоря, что все это враки, что родители Лавровскаго умерли своею смертью, отъ голода и болѣзней. Но мы чуткими ребячьими сердцами слышали въ его столахъ вопли искренней скорби и, принимая аллегоріи несчастнаго буквально, были, все-таки, ближе къ истинному пониманію этой трагически-свихнувшейся жизни.

Когда голова Лавровскаго опускалась еще ниже и изъ горла слышался храпъ, прерываемый нервными всхлипываніями, маленькія дѣтскія головки наклонялись тогда надъ несчастнымъ. Мы внимательно вглядывались въ его лицо, слѣдили за тѣмъ, какъ тѣни преступныхъ дѣяній пробѣгали по немъ и во снѣ какъ нервно сбѣгались брови и губы сжимались въ жалостную, почти по-дѣтски плачущую гримасу.

— Уб-бью!—вскрикивалъ онъ вдругъ, чувствуя во снѣ

безпредметное беспокойство отъ нашего присутствія, и тогда мы кидались врозь напуганной стаей.

Случалось, что въ такомъ положеніи соннаго его заливало дождемъ, засыпало пылью, а нѣсколько разъ, осенью, даже буквально заносило снѣгомъ, и если онъ не погибъ преждевременной смертью, то этимъ, безъ сомнѣнія, былъ обязанъ заботамъ о своей грустной особѣ другихъ, подобныхъ ему, несчастливцевъ, и, главнымъ образомъ, заботамъ веселаго пана Туркевича, который, сильно пошатываясь самъ, разыскивалъ его, тормозилъ, ставилъ на ноги и уводилъ съ собою.

Панъ Туркевичъ принадлежалъ къ числу людей, которые, какъ самъ онъ выражался, не даютъ себѣ плевать въ кашу, и въ то время, какъ профессоръ и Лавровскій пассивно страдали, Туркевичъ являлъ изъ себя особу веселую и благополучную во многихъ отношеніяхъ.

Начать съ того, что, не справляясь ни у кого объ утвержденіи, онъ сразу произвелъ себя въ генералы и требовалъ отъ обывателей соответствующихъ этому званію почестей. Такъ какъ никто не смѣлъ оспаривать его права на этотъ титулъ, то вскорѣ панъ Туркевичъ совершенно проникся и самъ вѣрой въ свое величіе. Выступалъ онъ всегда очень важно, грозно насунувъ брови и обнаруживая во всякое время полную готовность сокрушить кому-нибудь скулы, что, повидимому, считалъ необходимѣйшей прерогативой генеральскаго званія. Если же по временамъ его беззаботную голову посѣщали на этотъ счетъ какія-либо сомнѣнія, то, изловивъ на улицѣ перваго встрѣчнаго обывателя, онъ грозно спрашивалъ:

— Кто я по здѣшнему мѣсту, а?

— Генераль Туркевичъ!—смирненно отвѣчалъ обыватель, чувствувавшій себя въ затруднительномъ положеніи, и тогда Туркевичъ немедленно отпускалъ его, величественно покручивая усы.

— То-то же!

А такъ какъ при этомъ онъ умѣлъ еще совершенно осо-

бленнымъ образомъ шевелить своими тараканьими усами и былъ неистощимъ въ прибауткахъ, и остротахъ, то неудивительно, что его постоянно окружала толпа досужихъ слушателей и ему были даже открыты двери лучшей „ресторации,“ въ которой собирались за биллиардомъ прїѣзжіе помѣщики. Если сказать правду, бывали нерѣдко случаи, когда панъ Туркевичъ вылеталъ оттуда съ быстротой человѣка, котораго подталкиваютъ сзади не особенно церемонно; но случаи эти, объяснявшіеся неуваженіемъ помѣщиковъ къ остроумію, не оказывали вліянія на общее настроеніе Туркевича; поэтому веселая самоувѣренность составляла нормальное его состояніе, также какъ и постоянное опьяненіе.

Последнее обстоятельство составляло второй источникъ его благополучія; ему достаточно было одной рюмки, чтобы зарядиться на весь день. Объяснялось это огромнымъ количествомъ выпитой уже Туркевичемъ водки, которая превратила его кровь въ какое-то водочное сусло; генералу теперь достаточно было поддерживать это сусло на извѣстной степени концентраціи, чтобы оно играло и бурлило въ немъ, окрашивая для него міръ въ радужныя краски.

За то, если по какой-либо причинѣ дня три генералу не перепадало ни одной рюмки, онъ испытывалъ тогда невыносимыя муки. Сначала онъ впадалъ въ меланхолію и малодушіе; всѣмъ было извѣстно, что въ такія минуты грозный генераль становился безпомощнѣ ребенка, и тогда многіе спѣшили выместить на немъ свои обиды. Его били, оплевывали, закидывали грязью, а онъ даже не старался избѣгать поношеній; онъ только ревелъ во весь голосъ и слезы градомъ катились у него изъ глазъ по уныло обвисшимъ усамъ. Бѣдняга обращался ко всѣмъ съ просьбой убить его, мотивируя это желаніе тѣмъ обстоятельствомъ, что ему все равно придется помереть „собачьей смертью подъ заборомъ“. Тогда всѣ отъ него отступались: было что-то въ голосѣ и въ лицѣ генерала, что заставляло самыхъ ярыхъ изъ его ненавистниковъ поскорѣ удалаться, чтобы не видѣть этого лица, не слышать голоса человѣка, на короткое время приходившаго къ со-

знанію своего ужаснаго положенія. Тогда съ генераломъ опять происходила перемѣна; онъ становился ужасенъ; глаза лихорадочно загорались, щеки вваливались, короткіе волосы подымались на головѣ, онъ впадалъ въ изступленіе; быстро поднявшись на ноги, онъ ударялъ себя въ грудь и торжественно отправлялся по улицамъ, оповѣщая всѣхъ громкимъ голосомъ:

— Иду!... Какъ Іеремія, иду обличать нечестивыхъ!

Это было сигналомъ, обѣщавшимъ интересное зрелище съ обличительной подкладкой. Можно сказать съ увѣренностью, что навѣ Туркевичъ въ такіе минуты съ большимъ успѣхомъ выполнялъ всѣ функціи невѣдомой въ нашемъ городишкѣ гласности, поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, если самыя солидные и занятые граждане бросали обыденныя дѣла и примыкали къ толпѣ, сопровождавшей новоявленнаго пророка, или хотя издали слѣдили за его походами. Обычно онъ, прежде всего, направлялся къ дому секретаря уѣзднаго суда и открывалъ передъ его окнами нѣчто вродѣ судебного засѣданія; выбравъ изъ толпы подходящихъ актеровъ, изображавшихъ истцовъ и отвѣтчиковъ, онъ самъ говорилъ за нихъ роли и самъ же отвѣчалъ имъ, подражая съ большимъ искусствомъ голосу и манерѣ обличаемаго. Такъ какъ при этомъ онъ всегда умѣлъ придать своему спектаклю интересъ современности, намекая на какое-нибудь всѣмъ извѣстное дѣло, и такъ какъ, кромѣ того, онъ былъ большой знатокъ судебной процедуры, то немудрено, что въ самомъ скоромъ времени изъ дома секретаря выбѣгала кухарка, что-то совала Туркевичу въ руку и быстро скрывалась, отбиваясь отъ любезностей генеральской свиты. Генераль, получивъ даяніе, злобно хохоталъ и, съ торжествомъ размахивая ассигнаціей, отправлялся въ ближайшій кабакъ.

Оттуда, утоливъ нѣсколько жажду, онъ велъ своихъ слушателей къ домамъ „подсудковъ“, видоизмѣняя репертуаръ соответственно обстоятельствамъ. А такъ какъ каждый разъ онъ получалъ перспективную плату, то натурально, что грозный тонъ постепенно смягчался, глаза изступленнаго пророка



умасливались, усы закручивались кверху и представление отъ обличительной драмы переходило къ сеселому водевилю. Кончалось оно обыкновенно передъ домомъ исправника Коца. Это былъ дсбродушнѣйшій изъ градоправителей, обладавшій двумя небелшими слабостями: во-первыхъ, онъ красилъ свои сѣдые волосы черной краской и во-вторыхъ, питалъ пристрастiе къ толстымъ кухаркамъ, полагаясь во всемъ остальномъ на волю Божию и на добровольную обывательскую „благодарность.“ Подойдя къ исправническому дому, выходящему фасадомъ на улицу, Туркевичъ весело подмигивалъ своимъ спутникамъ, кидалъ вверхъ картузь и объявлялъ громогласно, что здѣсь живетъ не начальникъ, а родной его, Туркевича, степъ и благодѣтель.

Затѣмъ онъ устремлялъ свои взоры на окна и ждалъ послѣдствiй. Послѣдствiя эти были двоякаго рода: или немедленно изъ парадной двери выбѣгала толстая и румяная Матрена съ милостивымъ подаркомъ отъ отца и благодѣтеля, или же дверь оставалась закрытой, въ окнѣ кабинета мелькала сердитая старческая физиономiя, обрамленная черными, какъ смоль, волосами, а Матрена тихонько, задами прокрадывалась на сѣзжую. На сѣзжей имѣлъ постоянное мѣстожителство бутарь Микита, замѣчательно набишій руку именно въ сбраженiи съ Туркевичемъ. Онъ тотчасъ же флегматически откладывалъ въ сторону сапожную колодку и подымался съ своего сидѣнья.

Между тѣмъ, Туркевичъ, не видя пользы отъ диенрамовъ, понемногу и осторожно начиналъ переходить къ сатиры. Обыкновенно онъ начиналъ сожалѣнiемъ о томъ, что его благодѣтель считаетъ зачѣмъ-то нужнымъ красить свои почтенныя сѣдины сапожною ваксой. Затѣмъ, огорченный полнымъ невниманiемъ къ своему краснорѣчiю, онъ возвышалъ голосъ, подымалъ тонъ и начиналъ громить благодѣтеля за плачелный примѣръ, подаваемый гражданамъ незаконнымъ сжитiемъ съ Матреной. Дойдя до этого шекотливаго предмета, генераль терялъ уже всякую надежду на примиренiе съ благодѣтелемъ и потому воодушевлялся истиннымъ крас-

норѣіемъ негодованія. Къ сожалѣнію, обыкновенно на это изъ именно мѣстѣ рѣчи приходило неожиданное постороннее вмѣшательство: въ окно высовывалось желтое и сердитое лицо Коца, а сзади Туркевича подхватывалъ съ замѣчательной ловкостью подкравшійся къ нему Микита. Никто изъ слушателей не пытался даже предупредить оратора объ угрожавшей ему опасности, обо артистическіе приемы Микиты вызывали всеобщій восторгъ. Генераль, прерванный на полусловѣ, вдругъ какъ-то странно мелькать въ воздухѣ, опрокидывался спиной на спину Микиты и черезъ нѣсколько секундъ дюжій бутарь, слегка согнувшійся подъ своей ношей, среди оглушительныхъ криковъ толпы спокойно направлялся къ кугузкѣ. Еще минута, черная дверь съѣжей раскрывалась, какъ мрачная пасть, и генераль, безпомощно болтавшій ногами, торжественно скрывался во мракѣ кугузки. Неблагодарная толпа кричала Микитѣ „ура!“ и медленно расходилась.

Кромѣ этихъ выдѣлявшихся изъ ряда личностей, около часовни ютилась еще темная масса жалкихъ оборванцевъ, появленіе которыхъ на базарѣ производило всегда большую тревогу среди торговцевъ, сѣдѣвшихъ прикрѣпить свое добро руками, подобно тому, какъ покрываютъ насѣдки своихъ птенцовъ, когда въ небѣ покажется коршунъ. Ходили слухи, что эти жалкія личности, окончательно лишенные всякихъ ресурсовъ со времени изгнанія изъ замка, составили дружное сообщество и занимались, между прочимъ, мелкимъ воровствомъ въ городѣ и окрестностяхъ. Основывались эти слухи, главнымъ образомъ, на той безспорной пошлостѣ, что человѣкъ не можетъ существовать безъ пищи; а такъ какъ почти всѣ эти темныя личности, такъ или иначе, отбились отъ обычныхъ способовъ ея добыванія и были оттерты счастливыми изъ замка отъ благовѣстной филантропіи, то отсюда слѣдовало неизбежное заключеніе, что имъ было необходимо воровать или умереть. А такъ какъ онѣ не умерли, то... самый фактъ ихъ существованія обращался въ доказательство ихъ преступнаго образа дѣйствій.

Если только это была правда, то несомнѣннымъ являлось

также и то что, организаторомъ и руководителемъ сообщества не могъ быть никто другой, какъ панъ Тыбурцій Драбъ, самая замѣчательная личность изъ всѣхъ проблематическихъ натуръ, не ужившихся въ старомъ замѣѣ.

Происхожденіе Драба было покрыто мракомъ самой таинственной неизвѣстности. Люди, одаренные сильнымъ воображеніемъ, приписывали ему аристократическое имя, которое онъ покрылъ позоромъ, и потому принужденъ былъ скрыться, причемъ участвовалъ будто бы въ подвигахъ знаменитаго Кармелюка. Но, во первыхъ, для этого онъ былъ еще недостаточно старъ, а, во-вторыхъ, наружность пана Тыбурція не имѣла въ себѣ ни одной аристократической черты. Роста она была высокаго; сильная сутуловатость какъ бы говорила о бремени вынесенныхъ Тыбурціемъ несчастій; крупныя черты лица были грубо-выразительны. Короткіе, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкій лобъ, нѣсколько выдававшаяся впередъ нижняя челюсть, сильная подвижность личныхъ мускуловъ придавали всей фізіономіи что-то обезьяняе; но глаза, сверкавшіе изъ-подъ нависшихъ бровей, смотрѣли какъ-то упорно, и мрачно и въ нихъ свѣтились, вмѣстѣ съ лукавствомъ, острая пронизательность, энергія и недюжинный умъ. Въ то время, какъ на его лицѣ смѣнялся пѣлый калейдоскопъ гримасъ, эти глаза сохраняли постоянно одно выраженіе, отчего мнѣ всегда бывало какъ-то безотчетно жутко смотрѣть на гаерство этого страннаго человѣка.

Руки пана Тыбурція были грубы и покрыты мозолями, большія ноги ступали по-мужичьи. Въ виду этого, общее мнѣніе обывателей не признавало за нимъ аристократическаго происхожденія, и самое большее, что соглашалось допустить, это званіе двороваго человѣка какого-нибудь изъ знатныхъ пановъ. Но тогда опять встрѣчалось затрудненіе: какъ объяснить его феноменальную ученость, которую всѣ признавали единогласно? Да и трудно было не признать очевиднаго факта, такъ какъ не было кабака во всемъ городѣ, въ которомъ бы панъ Тыбурцій, въ назиданіе собиравшихся въ базарные дни хохловъ, не произносилъ, стоя на

бочкѣ, цѣлыхъ рѣчей изъ *Цицерона*, цѣлыхъ главъ изъ *Ксенофонта*. Хохлы разѣвали рты и поталкивали другъ друга локтями, а панъ Тыбурцій, возвышаясь въ своихъ лохмотьяхъ надъ всею толпой, громилъ Катилину, или описывать подвиги Цезаря, или коварство Митридата. Хохлы, вообще надѣленные отъ природы богатой фантазіей, умѣли какъ-то влагать свой собственный смыслъ въ эти одушевленные, хотя и непонятныя рѣчи, и когда, ударяя себя въ грудь и сверкая глазами, онъ обращался къ нимъ со словами: „*Patres conscripti!*“, они тоже хмурились и говорили другъ другу:

— Ото-жъ, вражій сынъ, якъ дается!

Когда же затѣмъ панъ Тыбурцій, поднявъ глаза къ потолку, начиналъ декламировать длиннѣйшіе латинскіе періоды, усатые слушатели слѣдили за нимъ съ боязливымъ и жалостнымъ участіемъ. Имъ казалось тогда, что душа декламатора витаетъ гдѣ-то въ невѣдомой странѣ, гдѣ говорятъ не по-христіански, а по отчаянной жестикуляціи ораторъ они заключали, что ее тамъ встрѣчаютъ какія-то горестныя приключенія. Но наибольшаго напряженія достигало это участливое вниманіе, когда панъ Тыбурцій, закативъ глаза и поводя одними бѣлками, донималъ аудиторію продолжительной скандовкой *Виргилія* или *Гомера*. Его голосъ звучалъ тогда такими глухими, загробными раскатами, что сидѣвшіе по угламъ и наиболѣе подверженные вліянію жидовской горилки слушатели опускали головы, свѣшивали длинныя, подстриженныя спереди „чурины“ и начинали всхлипывать:

— О-охъ, матиньки!... та и жалобно-жъ, хай ему бисъ!— и слезы капали у нихъ изъ глазъ и обильно стекали по длиннымъ усамъ.

Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго, что, когда ораторъ внезапно соскакивалъ съ бочки и раздражался веселымъ хохотомъ, омраченныя лица хохловъ вдругъ прояснялись и руки тянулись къ карманамъ широкихъ штановъ за мѣдяками. Обрадованные благополучнымъ окончаніемъ трагическихъ

экскурскій пана Тыбурція, хохлы поили его водкой. обнимались съ нимъ и надѣляли его деньгами.

Въ виду такой учености, пришлось построить новую гипотезу о происхожденіи этого чудака, которая бы болѣе соотвѣтствовала изложеннымъ фактамъ. Помирились на томъ, что панъ Тыбурцій былъ нѣкогда дворовымъ мальчишкой какого-то графа, который послалъ его вмѣстѣ со своимъ сыномъ въ школу отцовъ іезуитовъ, собственно на предметъ чистки сапоговъ молодого панича. Оказалось, однако, что въ то время, какъ молодой графъ воспринималъ преимущественно удары трехвостной „дисциплины“ святыхъ отцовъ, его лакей перехватилъ всю мудрость, которая назначалась для головы его барина.

Вслѣдствіе окружавшей Тыбурція тайны, въ числѣ другихъ профессій ему приписывали также отличныя свѣдѣнія по части колдовскаго искусства. Если на поляхъ, примыкавшихъ волнующимся моремъ къ послѣднимъ лачугамъ предмѣстья, появлялись вдругъ колдовскія „закруты,“ то никто не могъ вырвать ихъ съ большей безопасностью для себя и жнецовъ, какъ панъ Тыбурцій. Если зловѣщій „пугачъ“\*) прилеталъ по вечерамъ на чью-нибудь крышу и громкими криками пакикалъ туда смерть, то опять приглашали Тыбурція и онъ съ большимъ успѣхомъ прогонялъ зловѣщую птицу поученіями изъ Тита Ливія.

Никто не могъ бы также сказать, откуда у пана Тыбурція явились дѣти; а, между тѣмъ, фактъ, хотя и никѣмъ не объясненный, состоялъ налицо... даже два факта: мальчикъ лѣтъ семи, но рослый и развитой не по лѣтамъ, и маленькая трехлѣтняя дѣвочка. Мальчика панъ Тыбурцій привелъ или, вѣрнѣе, принесъ съ собою съ первыхъ дней, какъ явился самъ на горизонтъ нашего города. Что же касается дѣвочки, то, повидимому, онъ отлучался, чтобы пріобрѣсти ее, на нѣсколько мѣсяцевъ въ совершенно неизвѣстныя страны.

\*) Филиппъ.

Мальчикъ, по имени Валекъ, высокій, тонкій, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу безъ особеннаго дѣла, заложивъ руки въ карманы и кидая по сторонамъ взгляды, смущавшіе сердца калачницъ. Дѣвочку видѣли только одинъ или два раза на рукахъ пана Тыбурція, а затѣмъ она куда-то исчезла и гдѣ находилась, — никому не было извѣстно.

Поговаривали о какихъ-то подземельяхъ на уніатской горѣ, около часовни, и такъ какъ въ тѣхъ краяхъ, гдѣ такъ часто проходила съ огнемъ и мечемъ татарщина, гдѣ нѣкогда бушевала папская „сваволя“ (своеволие) и правили кровавую расправу удалцы-гайдамаки, подобныя подземелья очень перѣдки, то все вѣрили этимъ слухамъ, тѣмъ болѣе, что, вѣдь, жила же гдѣ-нибудь вся эта толпа темныхъ несчастливцевъ. А они обыкновенно подъ вечеръ исчезали именно въ направленіи къ часовнѣ. Туда своей сонной походкой ковылялъ профессоръ; шагаль рѣшительно и быстро папъ Тыбурцій; туда же Туркевичъ, пошатываясь, провожалъ свирѣпаго и безпомощнаго Лавровскаго; туда уходили подъ вечеръ, утопая въ сумеркахъ, другія темныя личности, и не было храбраго человѣка, который бы рѣшился слѣдовать за ними по глинистымъ обрывамъ. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурною славой. На старомъ кладбищѣ, во мракѣ осеннихъ ночей загорались синіе огни, а въ часовнѣ сычи кричали такъ пронзительно и звонко, что отъ криковъ проклятой птицы даже у безстрашнаго кузнеца сжималось сердце.

### III

#### Я и мой отецъ.

— Плохо, молодой человѣкъ, плохо! — говорилъ мнѣ перѣдко старый Янушъ изъ замка, встрѣчая меня на улицахъ города въ свитѣ пана Туркевича или среди слушателей пана Драба.

И старикъ качалъ при этомъ своею сѣдой бородою.

— Плохо, молодой человѣкъ, вы въ дурномъ обществѣ!... Жаль, очень жаль сына почтенныхъ родителей!

Дѣйствительно, съ тѣхъ поръ, какъ умерла моя мать, а сумрачное лицо отца стало еще мрачнѣе, меня очень рѣдко видѣли дома. Въ поздніе лѣтніе вечера я прокрадывался по саду, какъ молодой волченочекъ, избѣгая встрѣчи съ отцомъ, отворялъ посредствомъ особыхъ приспособленій свое окно, полузакрытое густою зеленою сирени, и тихо ложился въ постель. Если маленькая сестренка еще не спала въ своей качалкѣ въ сосѣдней комнатѣ, я подходилъ къ ней, и мы тихо ласкали другъ друга и играли, стараясь не потревожить сонъ ворчливой старой няньки.

А утромъ, чуть свѣтъ, когда въ домѣ все еще спали, я уже прокладывалъ росистый слѣдъ въ густой травѣ сада, перелѣзалъ черезъ заборъ и шелъ къ пруду, гдѣ меня ждали съ удочками такіе же сорванцы-товарищи, или къ мельницѣ, гдѣ сонный мельникъ только что отодвинулъ шлюзы и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась въ „лотоки“ и бодро принималась за дневную работу.

Большія мельничныя колеса, разбужденныя шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, какъ-то нехотя подавались, точно лѣнясь проснуться, но черезъ нѣсколько секундъ уже кружились, брызгая пѣной и купаясь въ холодныхъ струяхъ. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова и бѣлая мучная пыль тучами подымалась изъ щелей стараго-престараго мельничнаго зданія.

Тогда я шелъ далѣе. Мнѣ нравилось встрѣчать пробужденіе природы: я бывалъ радъ, когда мнѣ удавалось вспугнуть заспавшагося жаворонка или выгнать изъ борозды трусливаго зайца. Капли росы падали съ верхушекъ трясунокъ, съ головокъ луговыхъ цвѣтовъ, когда я пробирался полями къ загородной рошѣ. Деревья встрѣчали меня шепотомъ лѣнивой дремоты. Изъ оконъ тюрьмы не глядѣ-



ли еще блѣдныя, угрюмыя лица арестантовъ и только караулъ, громко звякая ружьями, обходилъ вокругъ стѣны, смѣняя усталыхъ почныхъ часовыхъ.

Я успѣвалъ совершить дальнѣйшій обходъ, и все же въ городѣ то и дѣло встрѣчались мнѣ заспанныя фигуры, отворявшія ставни домовъ. Но вотъ солнце поднялось уже надъ горой, изъ-за прудовъ слышится крикливый звонокъ, сзывающій гимназистовъ, и голодъ заставляетъ меня отправиться домой къ утреннему чаю.

Вообще всѣ меня звали бродягой, негоднымъ мальчишкой и такъ часто укоряли въ разныхъ дурныхъ наклонностяхъ, что я, наконецъ, и самъ проникся этимъ убѣжденіемъ. Отецъ также повѣрилъ этому и дѣлалъ иногда попытки заняться моимъ воспитаніемъ, но попытки эти всегда кончались неудачей. При видѣ строгаго и угрюмаго лица, на которомъ лежала суровая печать неизлечимаго горя, я робѣлъ и замыкался въ себя. Я стоялъ передъ нимъ, переминаясь, теребя свои штанишки и озираясь. По временамъ что-то какъ будто подымалось у меня въ груди; мнѣ хотѣлось, чтобы онъ обнялъ меня, посадилъ къ себѣ на колѣна и приласкалъ. Тогда я прильнулъ бы къ его груди и, быть можетъ, мы вмѣстѣ заплакали бы—ребенокъ и суровый мужчина—о нашей общей уtratѣ. Но онъ смотрѣлъ на меня своими отуманенными глазами, какъ будто устремленными поверхъ моей головы, и я весь сжимался подъ этимъ непонятнымъ для меня взглядомъ.

— Ты помнишь матушку?...

Помнилъ ли я ее? О, да! Я помнилъ ее! Я помнилъ, какъ, бывало, просыпаясь ночью, я искалъ въ темнотѣ ея нѣжныя руки и крѣпко прижимался къ нимъ, покрывая ихъ поцѣлуями. Я помнилъ ее, когда она сидѣла больная передъ открытымъ окномъ и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь съ нею въ послѣдній годъ своей жизни.

О, да! Я помнилъ ее! Когда она, вся покрытая цвѣтами, молодая и прекрасная, лежала съ печатью смерти на

блѣдномъ лицѣ, я, какъ звѣрокъ, забился въ уголь и смотрѣлъ на нее горящими глазами, передъ которыми впервые открылся весь ужасъ загадки о жизни и смерти. А потомъ, когда ее унесли въ толпѣ незнакомыхъ людей, не мои ли рыданія звучали сдавленнымъ стономъ въ сумракѣ первой ночи моего сиротства?

О, да! Я ее помнилъ! И теперь часто, въ глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая тѣснилась въ груди, переполняя дѣтское сердце. Просыпался съ улыбкой счастья, въ блаженномъ невѣдѣніи, навѣянномъ розовыми снами дѣтства. И опять, какъ прежде, мнѣ казалось, что она со мною, что я сейчасъ встрѣчу ее любящую, милую ласку. Но мои руки протягивались въ пустую тьму и въ душу проникало сознаніе горькаго одиночества. Тогда я сжималъ руками свое такъ больно стучавшее сердце и слезы прожигали горячими струями мои щеки.

О, да! Я помнилъ ее! Но на вопросъ высокаго, угрюмаго человѣка, въ которомъ я желалъ, но не могъ почувствовать родное душу, я съеживался еще болѣе и тихо выдергивалъ изъ его руки свою рученку.

И онъ отворачивался отъ меня съ досадою и болью. Онъ чувствовалъ, что не имѣетъ на меня ни малѣйшаго вліянія, что между нами стоитъ какая-то неодолимая преграда. Онъ слишкомъ любилъ ее, когда она была жива, незамѣчая меня изъ-за своего счастья. Теперь же меня закрывало отъ него тяжкое горе.

И мало-по-малу пропасть, насъ раздѣлявшая, становилась все шире и глубже. Онъ все болѣе убѣждался, что я дуршой, испорченный мальчишка, съ черствымъ, эгоистическимъ сердцемъ, и сознаніе, что онъ *долженъ*, но *не можетъ*, заняться мною, *долженъ* любить меня, но не находить для этой любви угла въ своемъ сердцѣ, еще увеличивало его нерасположеніе. И я это чувствовалъ. Порой, спрятавшись въ кустахъ, я наблюдалъ за нимъ, я видѣлъ, какъ онъ шагаль по аллеямъ, все ускоряя походку, и глухо стоналъ отъ нестерпимой душевной муки. Тогда мое

сердце сжималось жалостью и сочувствіемъ. Одинъ разъ, когда, сжавъ руками голову, онъ присѣлъ на скамейку и зарыдалъ, я не вытерпѣлъ и выбѣжалъ изъ кустовъ на дорожку, повинаясь неопредѣленному побужденію, толкавшему меня къ этому человѣку. Но онъ, пробужденный отъ мрачнаго и безнадежнаго созерцанія, сурово взглянулъ на меня и осадилъ холоднымъ вопросомъ.

— Что нужно?

Мнѣ ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтобы отецъ не прочелъ его въ моемъ смущенномъ лицѣ. Убѣжавъ въ чащу сада, я упалъ лицомъ въ траву и горько заплакалъ отъ досады и боли.

Съ шести лѣтъ я испыталъ уже весь ужасъ одиночества. Сестрѣ Сонѣ было четыре года. Я любилъ ее страстно, она платила мнѣ такую же любовью; но общій установившійся взглядъ на меня, какъ на отпѣтаго маленькаго разбойника, успѣлъ воздвигнуть между нами высокую преграду. Всякій разъ, когда я начиналъ играть съ нею, по своему шумно и рѣзко, старая пиявка, вѣчно сонная и вѣчно дравшая съ закрытыми глазами куриныя перья для подушекъ, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила къ себѣ, кидая на меня сердитые взгляды; въ такихъ случаяхъ она всегда напоминала мнѣ всклокоченную насѣдку; себя я сравнивалъ съ хищнымъ коршуномъ, а Соню—съ маленькимъ цыпленкомъ. Мнѣ становилось очень горько и досадно. Немудрено поэтому, что скоро я прекратилъ всякія попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще черезъ нѣкоторое время мнѣ стало тѣсно въ домѣ и въ садикѣ, гдѣ я не встрѣчалъ ни въ комъ привѣта и ласки. Я началъ бродяжить. Все мое существо трепетало тогда какимъ-то страннымъ предчувствіемъ, предвкушеніемъ жизни. Мнѣ все казалось, что гдѣ-то тамъ, въ этомъ большомъ и кевѣдомомъ свѣтѣ, за старой оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то долженъ сдѣлать и могу что-то сдѣлать, но я только не зналъ, что именно; а, меж-

ду тѣмъ, на встрѣчу этому невѣдомому и таинственному во мнѣ изъ глубины моего сердца что-то подымалось, дразня и вызывая. И все ждать разрѣшенія этихъ вопросовъ и инстинктивно бѣгалъ и отъ няньки съ ея перьями, и отъ знакомаго лѣниваго шепота яблоней въ нашемъ маленькомъ садикѣ, и отъ глупаго стука ножей, рубившихъ на кухнѣ котлеты. Съ тѣхъ поръ къ прочимъ нелестнымъ моимъ эпитетамъ прибавились названія уличнаго мальчишки и бродяги; но я не обращалъ на это вниманія; я притерпѣлся къ упрекамъ и выносилъ ихъ, какъ выносилъ внезапно разражавшійся дождь или солнечный зной. И хмуро выслушивалъ замѣчанія и поступалъ по своему. Шатаясь по улицамъ, я всматривался дѣтски любопытными глазами въ незатѣйливую жизнь городка съ его лачугами, вслушивался въ гулъ проволокъ на шоссе, вдали отъ городского шума, стараясь уловить, какія вѣсти несутся по нимъ изъ далекихъ большихъ городовъ, или въ шелестъ колосьевъ, или въ шепотъ вѣтра на высокихъ гайдамацкихъ могилахъ. Не разъ мои глаза широко раскрывались, не разъ останавливался я съ бодѣзненнымъ испугомъ передъ картинами жизненной панорамы; образъ за образомъ, впечатлѣнiе за впечатлѣнiемъ ложились въ душу яркими пятнами; я узналъ и увидалъ много такого, чего не видали дѣти значительно старше меня; а, между тѣмъ, то невѣдомое, что подымалось изъ глубины дѣтской души, попрежнему, звучало въ ней псесмолкающимъ, таинственнымъ, подмывающимъ, вызывающимъ рокотомъ.

Когда мегеры стараго замка лишили его въ моихъ глазахъ уваженія и привлекательности, когда всѣ углы города стали мнѣ извѣстны до послѣднихъ грязныхъ закоулковъ, тогда я сталъ заглядывать на видѣвшуюся вдали, на униатской горѣ, часовню. Сначала я, какъ пугливый звѣрокъ, подходилъ къ ней съ разныхъ сторонъ, все не рѣшаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но, по мѣрѣ того, какъ я знакомился съ мѣстностью, нередко мной выступали только тихія могилы и разрушен-

ные кресты. Нигдѣ не было видно признаковъ какого-либо жилья и человѣческаго присутствія. Все было какъ-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только **самая часовня** глядѣла, насупившись, пустыми **окнами**, точно думала какую-то грустную думу. Мнѣ захотѣлось осмотрѣть ее всю; заглянуть внутрь, чтобы убѣдиться окончательно, что и тамъ вѣтъ ничего, кромѣ пыли. Но такъ какъ одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсію, то я наwerbоваль на улицахъ города небольшой отрядъ изъ трехъ сорванцевъ, привлеченныхъ къ предпріятію общаніемъ булокъ и яблоковъ изъ нашего сада.

#### IV.

##### Я приобретаю новое знакомство.

Мы вышли въ экскурсію послѣ обѣда и, подойдя къ горѣ, стали подыматься по глинистымъ обваламъ, изрытымъ лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы и кое-гдѣ изъ глины виднѣлись высунувшіяся наружу бѣлыя, истлѣвшія кости. Въ одномъ мѣстѣ деревянный гробъ выставился истлѣвшимъ угломъ, въ другомъ—скалилъ зубы человѣческой черепъ, уставаясь на насъ черными впадинами глазъ.

Наконецъ, помогая другъ другу, мы торопливо обратились на гору изъ послѣдняго обрыва. Солнце начинало склоняться къ закату. Косвенные лучи мягко золотили зеленую мураву стараго кладбища, играли на старыхъ покосившихся крестахъ, переливались въ уцѣлѣвшихъ окнахъ часовни. Было тихо, вѣяло спокойствіемъ и глубокимъ миромъ брошеннаго кладбища. Здѣсь уже мы не видѣли ни череповъ, ни голеней, ни гробовъ. Зеленая свѣжая трава ровнымъ, слегка склонившимся къ городу пологомъ любовно скрывала въ своихъ объятіяхъ ужасъ и безобразіе смерти.

Мы были одни; только воробьи весело возились кру-

гомъ, да ласточки безшумно влетали и вылетали въ окна старой часовни, которая стояла, какъ-то грустно понурясь, среди поросшихъ травою могилъ, скромныхъ крестовъ, полуразвалившихся каменныхъ гробницъ, на развалинахъ которыхъ стлалась густая зелень, цестрѣли разноцвѣтныя головки лютиковъ, кашки, фіалокъ.

— Нѣтъ никого,—сказалъ одинъ изъ моихъ спутниковъ.

— Солнце заходитъ,—замѣтилъ другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло надъ горою.

Дверь часовни была крѣпко заколочена, окна—высоко надъ землею; однако, при помощи товарищей, я надѣялся взобраться на нихъ и заглянуть внутрь часовни.

— Не надо!—вскрикнулъ одинъ изъ моихъ спутниковъ, вдругъ потерявшій всю храбрость, и схватилъ меня за руку.

— Пошелъ ко всѣмъ чертямъ, баба!—прикрикнулъ на него старшій изъ нашей маленькой арміи, съ готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на нее; потомъ онъ выпрямился и я сталъ ногами на его плечи. Въ такомъ положеніи я безъ труда досталъ рукой раму и, убѣдясь въ ея крѣпости, поднялся къ окну и сѣлъ на немъ.

— Ну, что же тамъ?—спрашивали меня снизу съ живѣйшимъ интересомъ.

Я молчалъ. Перегнувшись черезъ косякъ, я заглянулъ внутрь часовни и оттуда на меня пахнуло торжественной тишиной брошеннаго храма. Внутренность высокаго, узкаго зданія была лишена всякихъ украшеній. Лучи вечерняго солнца, свободно врываясь въ открытыя окна, разрывали яркимъ золотомъ старыя ободранныя стѣны. Я увидѣлъ внутреннюю сторону запертой двери, провалившіеся хоры, старыя истлѣвшія колонны, какъ бы покачнувшіяся подъ непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной и въ нихъ ютилась та особенная тьма, которая залегаетъ во все углы такихъ старыхъ зданій. Отъ окна до пола казалось гораздо дальше, чѣмъ до травы снаружи.

Я смотрѣлъ точно въ глубокую яму и сначала не могъ разглядѣть какихъ-то странныхъ предметовъ, маячившихъ на полу причудливыми очертаніями.

Между тѣмъ, моимъ товарищамъ надоѣло стоять внизу, ожидая онъ меня извѣстій, и потому одинъ изъ нихъ, продѣлавъ ту же процедуру, какую продѣлалъ я раньше, повисъ рядомъ со мною. держась за оконную раму.

— Престоль,—сказалъ онъ, взглянувъ въ странный предметъ на полу.

— И паникадило.

— Столикъ для евангелія.

— А вонъ тамъ что такое?—съ любопытствомъ указалъ онъ на темный предметъ, виднѣвшійся рядомъ съ престоломъ.

— Поповская шапка.

— Нѣтъ, ведро.

— Зачѣмъ же тутъ ведро?

— Можетъ быть, въ немъ когда-то были угли для кадила.

— Нѣтъ, это, дѣйствительно, шапка. Впрочемъ, можно посмотреѣть. Давай привяжемъ къ рамѣ поясъ и ты по немъ спустишься.

— Да, какже! Такъ и спущусь. Полѣзай самъ, если хочешь.

— Ну, что-жь! Думаешь, не полѣзу?

— И полѣзай!

Дѣйствуя по первому побужденію, я крѣпко связалъ два ремня, задѣлъ ихъ за раму и, отдавъ одинъ конецъ товарищу, самъ повисъ на другомъ. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнулъ; но взглядъ на участливо склонившуюся ко мнѣ рожицу моего пріятеля возстановилъ мою бодрость и я храбро ступилъ на полъ. Стукъ каблука зазвенѣлъ подъ потолкомъ, отдался въ пустотѣ часовни, въ темныхъ углахъ. Нѣсколько воробьевъ вспорхнули съ насиженныхъ мѣстъ на хорахъ и вылетѣли въ большую прорѣху въ крышѣ. Со стѣны, на окнахъ которой мы сидѣли, гля-

нуло на меня вдругъ строгое лицо, съ бородой, въ терновомъ вѣнцѣ. Это склонялось изъ-подъ самаго потолка гигантское распятіе.

Мнѣ было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающимъ духъ любопытствомъ и участіемъ.

— Ты подойдешь?—спросилъ онъ тихо.

— Подойду,—отвѣтилъ я такъ же, собираясь съ духомъ, но въ эту минуту случилось нѣчто до того неожиданное и ужасное, что кровь сразу застыла у меня въ жилахъ.

Сначала послышался стукъ и шумъ обвалившейся на хорахъ штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло въ воздухъ тучею пыли и большая сѣрая масса, взмахнувъ крыльями, поднялась къ прорѣхѣ въ крышѣ. Часовня на мгновение какъ будто потемнѣла. Огромная старая сова, безпечная нашей возней, вылетѣла изъ темнаго угла, мелькнула, распластавшись, на фонѣ голубаго неба въ пролетѣ и шархнулась вонъ.

Я почувствовалъ приливъ судорожнаго страха.

— Подымай!—крикнулъ я товарищу, схватившись за ремень.

— Не бойся, не бойся!—успокаивалъ онъ, приготавливаясь поднять меня на свѣтъ дня и солнца.

Но вдругъ я увидѣлъ, что лицо его исказилось отъ ужаса; онъ вскрикнулъ и мгновенно исчезъ, спрыгнувъ съ окна. Я инстинктивно оглянулся и увидѣлъ странное явленіе, поразившее меня, впрочемъ, больше удивленіемъ, чѣмъ ужасомъ.

Темный предметъ нашего спора, шапка или ведро, оказавшійся, въ концѣ-концовъ, горшкомъ, мелькнулъ въ воздухѣ и на глазахъ моихъ скрылся подъ престоломъ. Я успѣлъ только разглядѣть смутныя очертанія небольшой, какъ будто дѣтской руки, увлекавшей его въ это убожище.

Трудно передать мои ощущенія въ эту минуту. Я не страдалъ; чувство, которое я испытывалъ, нельзя даже назвать страхомъ. Я былъ на томъ свѣтѣ. Откуда-то, точно съ другаго міра, въ теченіе нѣсколькихъ секундъ доносился до ме-



ня быстрой дробью тревожный топотъ трехъ паръ дѣтскихъ ногъ. Но вскорѣ затихъ и онъ. Я былъ одинъ, точно въ ирраціональномъ гробу, въ виду какихъ-то странныхъ и необъяснимыхъ явленій.

Времени для меня не существовало, поэтому я не могу сказать, скоро ли я услышалъ подъ престоломъ сдержанный шепотъ:

— Почему же онъ не лѣзетъ себѣ назадъ?

— Видишь, испугался.

Первый голосъ показался мнѣ совсѣмъ дѣтскимъ; второй могъ принадлежать мальчику моего возраста. Мнѣ показалось также, что въ щели стараго престола сверкнула пара черныхъ глазъ.

— Что-жъ онъ теперь будетъ дѣлать?—послышался опять шепотъ.

— А вотъ, погоди,—отвѣтилъ голосъ постарше.

Подъ престоломъ что-то сильно завожилось, онъ даже какъ будто покачнулся и въ то же мгновеніе изъ-подъ него вынырнула фигура.

Это былъ мальчикъ лѣтъ девяти, больше меня, худощавый и тонкій, какъ тростинка. Одѣтъ онъ былъ въ грязной рубашенкѣ, руки держалъ въ карманахъ узкихъ и короткихъ штанишекъ. Темные курчавые волосы лохматились надъ черными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомецъ, явившійся на сцену столь неожиданнымъ и страннымъ образомъ, подходилъ ко мнѣ съ тѣмъ безконечно-здорнымъ видомъ, съ какимъ всегда на нашемъ базарѣ подходили другъ къ другу мальчишки, готовившіеся вступить въ драку. но все же, увидѣвъ его, я сильно ободрился. И ободрился еще болѣе, когда изъ-подъ того же престола или, вѣрнѣе, изъ люка въ полу часовни, который онъ покрывалъ, сзади мальчика показалось еще одно грязное личико, обрамленное бѣлокурыми волосами и сверкавшее на меня дѣтски-любопытными голубыми глазами.

И нѣсколько отодвинулся отъ стѣны и, согласно рыцарскимъ правиламъ нашего рынка, тоже положилъ руки въ

карманы. Это было признакомъ, что я не боюсь противника и даже отчасти намскаю на мое къ нему презрѣніе.

Мы встали другъ противъ друга и обмѣнялись взглядами. Оглядѣвъ меня съ головы до ногъ, мальчишка спросилъ:

— Ты здѣсь зачѣмъ?

— Такъ, — отвѣтилъ я. — Тебѣ какое дѣло?

Мой противникъ повелъ плечомъ, какъ будто намѣревался вынуть руку изъ кармана и ударить меня.

Я не моргнулъ и глазомъ.

— Я вотъ тебѣ покажу! — погрозилъ онъ.

Я выпятился грудью впередъ.

— Ну, ударь!... попробуй!...

Мгновеніе было критическое; отъ него зависѣлъ характеръ дальнѣйшихъ отношеній. Я ждалъ, но мой противникъ, окинувъ меня тѣмъ же испытующимъ взглядомъ, не шевелился.

— Я, братъ, и самъ... тоже... — сказалъ я, но уже болѣе миролюбиво.

Между тѣмъ, дѣвочка, опершись маленькими ручонками въ полъ часовни, старалась тоже выкарабкаться изъ люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконецъ, направилась нетвердыми шагами къ мальчишкѣ. Подойдя вполоть, она крѣпко ухватила за него и, прижавшись къ нему, устремила на меня удивленный и отчасти испуганный взглядъ.

Это рѣшило исходъ дѣла; стало совершенно ясно, что въ такомъ положеніи мальчишка не могъ драться, а я, конечно, тоже былъ слишкомъ великодушенъ, чтобы воспользоваться его неудобнымъ положеніемъ.

— Какъ твое имя? — спросилъ мальчикъ, глядя рукой бѣлокурую головку дѣвочки.

— Вася. А ты кто такой?

— Я Валекъ... Я тебя знаю: ты живешь въ саду надъ прудомъ. У васъ большія яблоки.

— Да, это правда... яблоки у насъ хорошія... не хочешь ли?

Вынувъ изъ кармана два яблока, предназначавшіяся для расплаты съ моею постыдно бѣжавшей арміей, я подаль од-

но изъ нихъ Валеку, другое протянулъ дѣвочкѣ. Но она скрыла свое лицо, прижавшись къ Валеку.

— Бойтся,—сказалъ тотъ и самъ передалъ яблоко дѣвочкѣ.

— Зачѣмъ ты влѣзъ сюда? Развѣ я когда-нибудь лазить въ вашъ садъ?—спросилъ онъ затѣмъ.

— Что-жъ, приходи! Я буду радъ,—отвѣтилъ я радушно. Отвѣтъ этотъ озадачилъ Валека; онъ призадумался.

— Я тебѣ не компанія,—сказалъ онъ грустно.

— Отчего же?—спросилъ я, искренно огорченный грустнымъ тономъ, какимъ были сказаны эти слова.

— Твой отецъ панъ судья.

— Ну, такъ что же?—изумился я совершенно чистосердечно. Вѣдь, ты будешь играть со мной, не съ отцомъ.

Валекъ покачалъ головой,

— Тыбурцій не пустить,—сказалъ онъ и, какъ будто это имя напомнило ему что-то, онъ вдругъ спохватился:—Послушай, ты славный хлопецъ, но, все-таки, тебѣ лучше уйти. Если Тыбурцій тебя застанетъ, плохо будетъ!

Я согласился, что мнѣ, дѣйствительно, пора уходить. Последніе лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

— Какъ же мнѣ отсюда выйти!

— Я тебѣ укажу дорогу. Мы выйдемъ вмѣстѣ.

— А она?—ткнулъ я пальцемъ въ нашу маленькую даму.

— Маруся? Она тоже пойдетъ съ нами.

— Какъ? въ окно?

Валекъ задумался.

— Нѣтъ, вотъ что: я тебѣ помогу взобраться на окно, а сами мы выйдемъ другимъ ходомъ.

Съ помощью моего новаго пріятеля я поднялся къ окну. Отвязавъ ремень, я обвилъ его вокругъ рамы и, держась за оба конца, повисъ въ воздухѣ. Затѣмъ, отпустивъ одинъ конецъ, я спрыгнулъ на землю и выдернулъ ремень. Валекъ и Маруся ждали меня уже подъ стѣной, снаружи.

Солнце недавно еще сѣло за гору. Городъ утонулъ въ

лилово-туманной тѣни и только верхушки высокихъ тополей на островѣ рѣзко выдѣлялись червоннымъ золотомъ, зарисованныя послѣдними лучами заката. Мнѣ казалось, что съ тѣхъ поръ, какъ я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менѣе сутокъ, что это было вчера.

— Какъ хорошо!—сказать я, охваченный свѣжестью наступающего вечера и вдыхая полной грудью влажную прохладу.

— Скучно здѣсь,—съ грустью произнесъ Валекъ.

— Вы все здѣсь живете?—спросилъ я, когда мы втроемъ стали спускаться съ горы.

— Здѣсь.

— Гдѣ же вашъ домъ?

Я не могъ себѣ представить, чтобы подобныя мнѣ дѣти могли жить безъ „дома.“

Валекъ усмѣхнулся съ обычнымъ ему грустнымъ видомъ и ничего не отвѣтилъ.

Мы миновали крутые обвалы, такъ какъ Валекъ знать болѣе удобную дорогу. Пройдя межъ камышей по высохшему болоту и переправившись черезъ ручеекъ по тонкимъ дощечкамъ, мы очутились у подножія горы, на равнинѣ.

Тутъ надо было разстаться. Пожавъ руку моему новому знакомому, я протянулъ ее также и дѣвочкѣ. Она ласково подала мнѣ свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверхъ голубыми глазами, спросила:

— Ты придеши къ намъ опять?

— Приду,—отвѣтилъ я,—непремѣнно.

— Что-жъ?—сказалъ въ раздумьи Валекъ.—Приходи, пожалуй, только въ такое время, когда наши будутъ въ городѣ.

— Кто это „ваши“?

— Да наши... всѣ... Тыбурцій, Лавровскій, Туркевичъ... Профессоръ... тотъ, пожалуй, не помѣшастъ.

— Хорошо. Я высмотрю, когда они будутъ въ городѣ, и тогда приду. А пока прощайте!

— Эй, послушай-ка!—крикнулъ мнѣ Валекъ, когда я

отошелъ нѣсколько шаговъ. — А ты болтать не будешь о томъ, что былъ у насъ?

— Никому не скажу, — отвѣтилъ я твердо.

— Ну, вотъ, это хорошо! А этимъ твоимъ дуракамъ, когда станутъ приставать, скажи, что видѣлъ чорта.

— Ладно, скажу.

— Ну, прощай.

— Прощай.

Густыя сумерки залегли надъ Княжымъ-вѣномъ, когда я приблизился къ забору своего сада. Надъ замкомъ зарисовался тонкій серпъ луны, загорѣлись звѣзды. Я хотѣлъ уже подняться на заборъ, какъ кто-то схватилъ меня за руку.

— Вася, другъ! — заговорилъ взволнованнымъ шепотомъ мой бѣжавшій товарищъ. — Какъ же это ты?... Голубчикъ!...

— А вотъ, какъ видишь!... А вы всѣ меня бросили!...

Онъ потупился, но любопытство взяло верхъ надъ чувствомъ стыда, и онъ спросилъ опять:

— Что же тамъ было?

— Что? — отвѣтилъ я тономъ, не допускавшимъ сомнѣнiя, — разумѣется, черти!... А вы трусы.

И, отмахнувшись отъ сконфуженнаго товарища, я полѣзъ на заборъ.

Черезъ четверть часа я спалъ уже глубокимъ сномъ, и во снѣ мнѣ видѣлись дѣйствительные черти, весело выскакивавшiе изъ чернаго люка. Валеку гонялъ ихъ ивовымъ прутикомъ, а Маруся, весело сверкая глазками, смѣялась и хлопала въ ладоши.

## V.

### Знакомство продолжается.

Съ сихъ поръ я весь былъ поглощенъ моимъ новымъ знакомствомъ. Вечеромъ, ложась въ постель, и утромъ, вставая, я только и думалъ о предстоящемъ визитѣ на гору.

По улицамъ города я шатался теперь съ исключительной цѣлью—высмотрѣть, тутъ ли находится вся компанія, которую Янушъ характеризовалъ словами „дурное общество“; и если Лавровскій валялся въ лужѣ, если Туркевичъ и Тыбурцій разглагольствовали передъ своими слушателями, а темныя личности шныряли по базару, я тотчасъ же бѣгомъ отправлялся черезъ болото, на гору, къ часовнѣ, предварительно наполнивъ карманы яблоками, которыя я могъ рвать въ саду безъ запрету, и лакомствами, которыя я сберегалъ всегда для своихъ новыхъ друзей.

Валекъ, вообще очень солидный и внушавшій мнѣ уваженіе своими манерами взрослого человѣка, принималъ эти припошенія просто и по бѣльшей части откладывалъ куда-нибудь, приберегая для сестры, по Маруся всякій разъ всплескивала ручонками и глаза ея загорались огонькомъ неподдѣльнаго восторга; блѣдное лицо дѣвочки вспыхивало румянцемъ, она смѣялась, и этотъ смѣхъ нашей маленькой пріятельницы отдавался въ нашихъ сердцахъ, вознаграждая за конфекты, которыми мы жертвовали въ ея пользу.

Это было блѣдное, крошечное созданіе, напоминавшее цвѣтокъ, выросшій безъ живительныхъ лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, какъ былинка; руки ея были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шеѣ, какъ головка полевого колокольчика, но глаза смотрѣли порой такъ не по-дѣтски грустно и улыбка такъ напоминала мнѣ мою мать въ послѣдніе дни, когда она, бывало, сидѣла противъ открытаго окна и вѣтеръ шевелилъ ея бѣлокурые волосы, что мнѣ, при взглядѣ на это дѣтское личико, становилось самому грустно и слезы подступали къ глазамъ.

Я невольно сравнивалъ ее съ моей сестрой; онѣ были въ одномъ возрастѣ, но моя Соня была кругла, какъ пышка, и упруга, какъ мячикъ. Она такъ рѣзко бѣгала, когда, бывало, разыграется, такъ звонко смѣялась, на ней всегда

были такія красивыя платья и въ темныя косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая пріятельница почти никогда не бѣгала и смѣялась очень рѣдко; когда же смѣялась, то смѣхъ ея звучалъ какъ самый маленькій серебряный колокольчикъ, котораго на десять шаговъ уже не слышно. Платье ея было грязно и старо, въ косѣ не было лентъ, но волосы у ней были гораздо больше и роскошнѣе, чѣмъ у Сони, и Валека, къ моему удивленію, очень искусно умѣлъ заплетать ихъ, что и исполнялъ каждое утро.

Я былъ большой сорванецъ. „У этого малаго,—говорили обо мнѣ старшіе,—руки и ноги налиты ртутью“, чему я и самъ вѣрилъ, хотя не представлялъ себѣ ясно, кто и какимъ образомъ произвелъ на домной эту операцію. Въ первые же дни я внесъ свое оживленіе и въ общество моихъ новыхъ знакомыхъ. Едва ли эхо старой „каплицы“ повторяло когда-нибудь такіе громкіе возгласы, какъ въ это время, когда я старался расшевелить и завлечь въ свои игры Валека и Марусю. Однако, это удавалось плохо. Валека серьезно смотрѣлъ на меня и на дѣвочку и разъ, когда я заставлялъ ее бѣгать со мной взапуски, онъ сказалъ:

— Нѣтъ, она сейчасъ заплачетъ.

Дѣйствительно, когда я растормошилъ ее и заставилъ бѣжать, Маруся, заслышавъ мои шаги за собой, вдругъ повернулась ко мнѣ, поднявъ ручонки надъ головой, точно для защиты, посмотрѣла на меня безпомощнымъ взглядомъ захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсѣмъ растерялся.

— Вотъ видишь, — сказалъ Валека, — она не любитъ играть.

Онъ усадилъ ее на траву, нарвалъ цвѣтовъ и кинулъ ей; она перестала плакать и тихо перебирала растенія, что-то говорила, обращаясь къ золотистымъ лютикамъ, и подносила къ губамъ синіе колокольчики. Я тоже присмирѣлъ и легъ рядомъ съ Валекомъ около дѣвочки.

— Отчего она такая?—спросилъ я, наконецъ, указывая глазами на Марусю.

— Невеселая?—переспросилъ Валекъ и затѣмъ сказалъ тономъ совершенно убѣжденнаго человѣка:—а это, видишь ли, отъ сѣраго камня...

— Да-а,—повторила дѣвочка, точно слабое эхо,—это отъ сѣраго камня...

— Отъ какого сѣраго камня?—переспросилъ я, не понимая.

— Сѣрый камень высосалъ изъ нея жизнь,—пояснилъ опять Валекъ, попрежнему смотря на небо.—Такъ говорить Тыбурцій... Тыбурцій хорошо знаетъ.

— Да-а,—опять повторила тихимъ эхомъ дѣвочка,—Тыбурцій все знаетъ.

Я ничего не понималъ въ этихъ загадочныхъ словахъ, которыя Валекъ повторялъ за Тыбурціемъ; однако, аргументъ, что Тыбурцій все знаетъ, произвелъ и на меня свое дѣйствіе. Я приподнялся на локтѣ и взглянулъ на Марусю. Она сидѣла въ томъ же положеніи, въ какомъ усадила ее Валекъ, и все такъ же перебирала цвѣты; движенія ея тонкихъ рукъ были медленны; глаза выдѣлялись глубокой синевой на блѣдномъ лицѣ; длинныя рѣсницы были опущены. При взглядѣ на эту крохотную грустную фигурку мнѣ стало ясно, что въ словахъ Тыбурція, хотя я и не понималъ ихъ значенія, заключается горькая правда. Несомнѣнно, кто-то высасываетъ жизнь изъ этой странной дѣвочки, которая плачетъ тогда, когда другія на сямѣстѣ смѣются. Но какъ же можетъ сдѣлать это сѣрый камень?

Это было для меня загадкой, страшнѣе всѣхъ призраковъ стараго замка. Какъ не ужасны были турки, томившіеся подъ землею, какъ ни грозенъ старый графъ, усмирявшій ихъ въ бурныя ночи, но всѣ они отзывались фантастическими ужасами старой сказки. А здѣсь что-то невѣдомо-страшное было воочію. Что-то безформенное, неумолимое, твердое и жестокое, какъ камень, склонялось надъ маленькой головкой, высасывая изъ нея румянецъ,



блескъ глазъ и живость движеній. „Должно быть, это бываетъ по ночамъ“, — думалъ я и чувство щемящаго до боли сожалѣнія сжимало мнѣ сердце.

Подъ вліяніемъ этого чувства я тоже умѣрилъ свою рѣзвость. Примѣняясь къ тихой солидности нашей дамы, оба мы съ Валекомъ, усадивъ ее гдѣ-нибудь на травѣ, собирали для нея цвѣты, разноцвѣтные камешки, ловили бабочекъ, иногда дѣлали изъ кирпичей ловушки для воробьевъ. Иногда же, растянувшись около нея на травѣ, смотрѣли въ небо, какъ плывутъ облака высоко надъ лохматою крышей старой „каплицы“, рассказывали Марусѣ сказки или бесѣдовали другъ съ другомъ.

Эти бесѣды съ каждымъ днемъ все больше закрѣпляли нашу дружбу съ Валекомъ, которая расла, несмотря на рѣзкую противоположность нашихъ характеровъ. Моей порывистой рѣзвости онъ противопоставлялъ грустную солидность и внушалъ мнѣ почтеніе своей авторитетностью и независимымъ тономъ, съ какимъ отзывался о старшихъ. Кромѣ того, онъ часто сообщалъ мнѣ много новаго, о чемъ я раньше и не думалъ. Слыша, какъ онъ отзывается о Тыбурціѣ, точно о товарищѣ, я спросилъ:

— Тыбурцій тебѣ отецъ?

— Должно быть, отецъ, — отвѣтилъ онъ задумчиво, какъ будто этотъ вопросъ не приходилъ ему въ голову.

— Онъ тебя любитъ?

— Да, любить, — сказалъ онъ уже гораздо увѣреннѣе. — Онъ постоянно обо мнѣ заботится и, знаешь, иногда онъ цѣлуетъ меня и плачетъ...

— И меня любить, и тоже плачетъ, — прибавила Маруся съ выраженіемъ дѣтской гордости.

— А меня отецъ не любитъ, — сказала я грустно. — Онъ никогда не цѣловалъ меня... онъ нехорошій.

— Неправда, неправда! — возразилъ Валекъ, — ты не понимаешь. Тыбурцій лучше знаетъ. Онъ говоритъ, что судья самый лучший человекъ въ городѣ и что городу давно бы уже надо провалиться, если бы не твой отецъ, да еще попь,

котораго недавно посадили въ монастырь, да еврейскій раввинъ. Вотъ изъ-за нихъ троихъ...

— Что изъ-за нихъ?

— Городъ изъ-за нихъ еще не провалился. Такъ говорить Тыбурцій... потому что они еще за бѣдныхъ людей заступаются... А твой отецъ, знаешь... онъ засудилъ даже одного графа...

— Да, это правда... графъ очень сердился... я слышалъ.

— Ну, вотъ видишь! А, вѣдь, графа засудить не шутка!

— Почему?

— Почему?—переспросилъ Валекъ, нѣсколько озадаченный.— Потому что графъ не простой человѣкъ... Графъ дѣлаетъ, что хочетъ, и ѣздитъ въ каретѣ... и потомъ... у графа деньги; онъ далъ бы другому судѣ денегъ, и тотъ бы его не засудилъ, а засудилъ бы бѣднаго.

— Да, это правда; я слышалъ, какъ графъ кричалъ у насъ въ квартирѣ: „я васъ всѣхъ могу купить и продать!“

— А судья что?

— А отецъ говорить ему: „подите отъ меня вонъ!“

— Ну, вотъ, вотъ! И Тыбурцій говорить, что онъ не побоялся прогнать богатаго, а когда къ нему пришла старая Иваниха съ костылемъ, онъ велѣлъ принести ей стулъ. Вотъ онъ какой! Даже и Туркевичъ не дѣлаетъ никогда подъ его окнами скандаловъ.

Это была правда: Туркевичъ, во время своихъ обличительныхъ экскурсій, всегда молча проходилъ мимо нашихъ оконъ, иногда даже снимая шапку.

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валекъ указалъ мнѣ моего отца съ такой стороны, съ какой мнѣ никогда не приходило въ голову взглянуть на него; слова Валека задѣли въ моемъ сердцѣ струну сыновней гордости; мнѣ было пріятно слушать похвалы моему отцу, высказываемыя отъ имени Тыбурція, который „все знаетъ;“ но, вмѣстѣ съ тѣмъ, дрогнула въ моемъ сердцѣ и нота щемящей любви, смѣшанной съ горькимъ сознаніемъ, что никогда

Этотъ человѣкъ не любилъ и не полюбить меня такъ, какъ Тыбурціи любить своихъ дѣтей.

## VI.

### Среди „сѣрыхъ камней.“

Прошло еще нѣсколько дней. Члены дурнаго общества перестали являться въ городѣ, и я напрасно шатался, скучая, по улицамъ, ожидая ихъ появленія, чтобы бѣжать на гору. Одинъ только „профессоръ“ прошелъ раза два своей сонной походкой, но ни Туркевича, ни Тыбурціи не было видно. Я совсѣмъ соскучился, такъ какъ не видѣть Валека и Марусю стало уже для меня большимъ лишеніемъ. Но вотъ, когда я, однажды, шелъ съ опущенной головой по пыльной улицѣ, Валекъ вдругъ положилъ мнѣ на плечо руку.

— Отчего ты пересталъ къ намъ ходить?—спросилъ онъ.

— Я боялся... Вашихъ не видно въ городѣ.

— А-а! Я и не догадался сказать тебѣ: нашихъ нѣтъ, приходи... А я было подумалъ совсѣмъ другое.

— А что?

— Я подумалъ, что тебѣ ужъ наскучило.

— Нѣтъ, нѣтъ!... Я, братъ, сейчасъ побѣгу,—заторопился я, —даже и яблоки со мною.

При упоминаніи о яблокахъ Валекъ быстро повернулся ко мнѣ, какъ будто хотѣлъ что-то сказать, но не сказалъ ничего и только посмотрѣлъ на меня страннымъ взглядомъ.

— Ничего, ничего!—отмахнулся онъ, видя, что я смотрю на него съ ожиданіемъ.—Ступай прямо на гору, а я тутъ зайду кое-куда... дѣло есть. Я тебя догоню на дорогѣ.

Я пошелъ тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валекъ меня догонитъ; однако, я успѣлъ взойти на гору и подошелъ къ часовнѣ, а его все не было. Я остановился въ недоумѣніи: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, безъ малѣйшихъ признаковъ обитаемости; только воробьи чирикали на свободѣ, да густые кусты черему-

хи, жимолости и сирени, прижимаясь къ южной стѣнѣ часовни, о чемъ-то тихо шептались густо-разросшейся темной листвою.

Я оглянулся кругомъ. Куда же мнѣ теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валека. А пока я сталъ ходить между могилами, присматриваясь къ нимъ отъ нечего дѣлать, и стараясь разобрать стертые надписи на обросшихъ мхомъ надгробныхъ камняхъ. Шатаясь, такимъ образомъ, отъ могилы къ могилѣ, я наткнулся на полуразрушенный просторный склепъ. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тутъ же. Дверь была заколочена. Изъ любопытства, я приставилъ къ стѣнѣ старый крестъ и, взобравшись по немъ, заглянулъ внутрь. Гробница была пуста, только въ серединѣ пола была вдѣлана оконная рама со стеклами и сквозь эти стекла зіяла темная пустота подземелья.

Пока я разсматривалъ гробницу, удивляясь странному назначенію окна, на гору вбѣжалъ запыхавшійся и усталый Валекъ. Въ рукахъ у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

— Ага!—крикнулъ онъ, замѣтивъ меня,—ты вотъ гдѣ! Если бы Тыбурцій тебя здѣсь увидѣлъ, то-то бы разсердился! Ну, да теперь ужъ дѣлать нечего... Я знаю, ты хлопецъ хорошій и никому не расскажешь, какъ мы живемъ. Пойдемъ къ намъ!

— Гдѣ же это, далеко? спросить я.

— А вотъ увидишь. Ступай за мной.

Онъ раздвинулъ кусты жимолости и сирени и скрылся въ зелени, подъ стѣной часовни; я послѣдовалъ туда за нимъ и очутился на небольшой, плотно утоптанной площадкѣ, которая совершенно скрывалась въ зелени. Между стволами черемухъ я увидѣлъ въ землѣ довольно большое отверстіе, съ земляными ступенями, ведущими внизъ. Валекъ спустился туда, приглашая меня за собой, и черезъ нѣсколько секундъ мы оба очутились въ темнотѣ, подъ землею. Взявъ мою руку, Валекъ повелъ меня по какому-то узкому,

сырому коридору и, круто повернувъ вправо, мы вдругъ вошли въ просторное подземелье.

Я остановился у входа, пораженный невиданнымъ зрѣлищемъ. Двѣ струи свѣта рѣзко лились сверху, выдѣляясь полосами на темномъ фонѣ подземелья; свѣтъ этотъ проходилъ въ два окна, одно изъ которыхъ я видѣлъ въ полу склена, другое, подальше, очевидно, было пристроено такимъ же образомъ; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались отъ стѣнъ старыхъ гробницъ; они разливались въ сыромъ воздухѣ подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками; стѣны тоже были сложены изъ камня; большія широкія колонны массивно взымались снизу и, раскинувъ во всѣ стороны свои каменные дуги, крѣпко смыкались вверху сводчатымъ потолкомъ. На полу, въ освѣщенныхъ пространствахъ, сидѣли двѣ фигуры. Старый профессоръ, склонивъ голову и что-то бормоча про себя, ковырялъ иглой въ своихъ лохмотьяхъ. Онъ не поднялъ даже головы, когда мы вошли въ подземелье, и если бы не легкія движенія руки, то эту сѣрую фигуру можно было бы принять за фантастическое каменное изваяніе.

Подъ другимъ окномъ сидѣла съ кучкой цвѣтовъ, перебирая ихъ по своему обыкновенію, Маруся. Струя свѣта падала на ея бѣлокурую головку, заливала ее всю, но не смотря на это, она какъ-то слабо выдѣлялась на фонѣ сѣраго камня страннымъ и маленькимъ туманнымъ пятнышкомъ, которое, казалось, вотъ-вотъ расплывется и исчезнетъ. Когда тамъ, вверху, надъ землей, пробѣгали тучи, затѣняя солнечный свѣтъ, стѣны подземелья тонули совсѣмъ во мракъ, какъ будто раздвигались, уходили куда-то, а потомъ опять выдѣлялись жесткими и холодными камнями, крѣпко смыкаясь нерасторжимыми объятіями надъ крохотной фигуркой дѣвочки. Я поневолѣ вспомнилъ слова Валека о „сыромъ камнѣ“, высасывавшемъ изъ Маруси ея веселье, и чувство суевѣрнаго страха закралось въ мое сердце; мнѣ казалось, что я ощущаю на ней и на себѣ какой-то невидимый, но

ужасный каменный взглядъ, пристальный и жадный. Мнѣ казалось, что это подземелье чутко сторожить свою жертву.

— Валець!—тихо обрадовалась Маруся, увидѣвъ брата.

Когда же она замѣтила меня, въ ея глазахъ блеснула слабая искорка.

Я отдалъ ей принесенныя съ собой яблоки, а Валець, разломивъ булку, часть подавъ ей, а другую снесъ профессору. Несчастный ученый равнодушно взялъ это приношеніе и началъ жевать, не отрываясь отъ своего занятія. Я, переминался и ежился, чувствуя себя какъ будто связаннымъ, подъ гнетущими „взглядами“ сѣраго камня.

— Уйдемъ... уйдемъ отсюда,—дернулъ я Валека.—Уведи ее...

— Пойдемъ, Маруся, навѣрхъ,—позвалъ Валець сестру.

И мы втроемъ поднялись изъ подземелья, но и здѣсь, навѣрху, меня не оставляло ощущеніе какой-то напряженной неловкости. Валець былъ грустнѣе и молчаливѣе обыкновеннаго.

— Ты въ городѣ остался затѣмъ, чтобы купить булокъ?—спросилъ я у него.

— Купить?—усмѣхнулся Валець.—Откуда же у меня деньги?

— Такъ какъ же?... Ты выпросилъ?

— Да, выпросишь!... Кто же мнѣ дастъ?... Нѣтъ, братья! Я стянулъ ихъ съ лотка еврейки Сурь, на базарѣ. Она не замѣтила...

Онъ сказалъ это обыкновеннымъ тономъ, лежа въ растяжку съ заложенными подъ голову руками. Я приподнялся на локтѣ и посмотрѣлъ на него.

— Ты, значить, укралъ?

— Ну, да!

Я опять откинулся на траву и съ минуту мы пролежали молча.

— Воровать нехорошо,—проговорилъ я затѣмъ въ грустномъ раздумьи.

— Наши всё ушли... Маруся плакала, потому что она была голодна...

— Да!... голодна!—съ жалобнымъ простодушіемъ повторила дѣвочка.

Я не зналъ еще, что такое голодъ, но при послѣднихъ словахъ дѣвочки у меня что-то повернулось въ груди и я посмотрѣлъ на своихъ друзей, точно увидѣлъ ихъ впервые. Валець, попрежнему, лежалъ на травѣ и задумчиво слѣдилъ за парившимъ въ небѣ ястребомъ; теперь онъ не казался уже мнѣ такимъ авторитетнымъ, а при взглядѣ на Марусю, державшую обѣими руками кусокъ булки, у меня заняло сердце.

— Почему же,—проговорилъ я съ усиліемъ,—почему ты не сказалъ объ этомъ мнѣ?

— Я и хотѣлъ сказать, а потомъ раздумалъ; вѣдь, у себя своихъ денегъ нѣтъ.

— Ну, такъ что же? Я взялъ бы булокъ изъ дому.

— Какъ?... потихоньку?...

— Д-да.

— Значить, и ты бы тоже укралъ...

— Я... у своего отца.

— Это еще хуже!—съ увѣренностью сказалъ Валець.— Я никогда не ворую у своего отца...

— Ну, такъ я попросилъ бы... мнѣ бы дали...

— Ну, можетъ быть, и дали бы одинъ разъ... гдѣ же напасть на всѣхъ нищихъ?

— А вы развѣ... нищіе?—спросилъ я упавшимъ голосомъ.

— Нищіе! угрюмо отрѣзалъ Валець.

Я замолчалъ и черезъ нѣсколько минутъ сталъ прощаться.

— Ты уже уходишь?—спросилъ Валець.

— Да, ухожу.

Я уходилъ потому, что не могъ уже въ этотъ день играть съ моими друзьями, попрежнему, безмятежно. Чистая дѣтская привязанность моя какъ-то замутилась; хотя лю-

бовь моя къ Валеку и Марусѣ не стала слабѣе, но къ ней примѣшалась острая струя сожалѣнія, доходившая до жгучей сердечной боли. Дома я рано легъ въ свою постель, потому что не зналъ, куда уложить новое болѣзненное чувство, переполнявшее душу. Уткнувшись въ подушку, я горько плакалъ, пока благотѣльный сонъ не заглушилъ своимъ вѣяніемъ моего глубокаго горя.

## VII.

На сцену является панъ Тыбурцій.

— Здравствуй! А ужъ я думать, ты не придешь болѣе, — такъ встрѣтилъ меня Валекъ, когда я на слѣдующій день опять явился на гору.

И понялъ, почему онъ сказалъ это.

— Нѣтъ, я... я всегда буду ходить къ вамъ, — отвѣтилъ я рѣшительно, чтобы разъ навсегда покончить съ этимъ вопросомъ.

Валекъ замѣтно повеселѣлъ при этомъ и оба мы почувствовали себя свободнѣе.

— Ну, что? Гдѣ же ваши? — спросилъ я. — Все еще не вернулись?

— Нѣтъ еще. Чортъ ихъ знаетъ, гдѣ они пропадаютъ!

И мы весело принялись за сооруженіе хитроумной ловушки для воробьевъ, для которой я принесъ съ собой нитокъ. Нитку мы дали въ руки Марусѣ, и когда неосторожный воробей, привлеченный зерномъ, безпечно заскакивалъ въ западню, Маруся дергала нитку и крышка захлопывала птичку, которую мы затѣмъ отпускали.

Между тѣмъ, около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча и подъ веселые раскаты грома зашумѣлъ ливень. Сначала мнѣ очень не хотѣлось спускаться въ подземелье, но потомъ, подумавъ, что, вѣдь, Валекъ и Маруся живутъ тамъ постоянно, я побѣдилъ непріятное ощущеніе и пошелъ туда вмѣстѣ съ ними. Въ подземельи было темно и тихо, но сверху слышно было, какъ пере-



катывался гулкой грохотъ грозы, точно кто ѣздилъ тамъ въ громадной телѣгѣ по гигантски-сложенной мостовой. Черезъ нѣсколько минутъ я освоился съ подземельемъ и мы весело прислушивались, какъ земля принимала широкіе потоки ливня; гуль, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживленіе, требовавшее пехода.

— Давайте играть въ жмурки,—предложилъ я.

Мнѣ завязали глаза; Маруся звенѣла слабыми переливами своего жалкаго смѣха и шлепала по каменному полу непроторными ножонками, а я дѣлалъ видъ, что не могу поймать ее, какъ вдругъ я наткнулся на чью-то мокрую фигуру и въ ту же минуту почувствовалъ, что кто-то схватилъ меня за ногу. Сильная рука приподняла меня съ полу и я повисъ въ воздухѣ, внизъ головой. Повязка съ глазъ моихъ спала.

Тыбурцій, мокрый и сердитый, страшнѣе еще оттого, что я глядѣлъ на него снизу, держалъ меня за ногу и дико вращалъ зрачками.

— Это что еще? а?—строго спрашивалъ онъ, глядя на Валека. — Вы тутъ, я вижу, весело проводите время... Завели пріятную компанію.

— Пустите меня!—сказалъ я, удивляясь, что и въ такомъ необычномъ положеніи я, все-таки, могу говорить, но рука папа Тыбурція только еще сильнѣе сжала мою ногу.

— Responde! Отвѣтствуй!—грозно обратился онъ опять къ Валеку, который въ этомъ затруднительномъ случаѣ стоялъ, записавъ въ ротъ два пальца, какъ бы въ доказательство того, что ему отвѣчать рѣшительно нечего.

Я замѣтилъ только, что онъ сочувственнымъ окомъ и съ большимъ участіемъ слѣдилъ за моей несчастной фигурой, качавшейся, подобно маятнику, въ пространствѣ.

Панъ Тыбурцій приподнялъ меня и взглянулъ въ лицо.

— Эге-ге! Панъ судья, если меня не обманываютъ глаза... Зачѣмъ это извоили пожаловать?

— Пусти!—проговорилъ я упрямо.—Сейчасъ отпусти! —

и при этомъ я сдѣлалъ инстинктивное движеніе, какъ бы собирався топнуть ногою, но отъ этого моя фигура только забила въ воздухъ.

Тыбурцій захохоталъ.

— Ого-го! Панъ судья изволить сердиться... Ну, да ты еще меня не знаешь. Его Тыбурцій *sup.* Я, вотъ, по-вѣшу тебя надъ огонькомъ и зажарю, какъ поросенка.

Я начиналъ думать, что дѣйствительно такова моя неизбежная участь, тѣмъ болѣе, что отчаянная фигура Валека какъ бы подтверждаала мысль о возможности такого печальнаго исхода. Къ счастью, на выручку подоспѣла Маруся.

— Не бойся, Вася, не бойся,—ободрила она меня, подойдя къ самымъ ногамъ Тыбурція.—Онъ никогда не жарить мальчиковъ на огнѣ... Это неправда!

Тыбурцій быстрымъ движеніемъ повернулъ меня и поставилъ на ноги; при этомъ я чуть не упалъ, такъ какъ у меня закружилась голова, но онъ поддержалъ меня рукой и затѣмъ, сѣвъ на деревянный обрубокъ, поставилъ меня между колѣнъ.

— И какъ это ты сюда попалъ?—продолжалъ онъ допрашивать.—Давно ли?... Говори ты! обратился онъ къ Валеку, такъ какъ я ничего не отвѣтилъ.

— Давно,—отвѣтилъ тотъ.

— А какъ давно?

— Дней шесть.

Казалось, этотъ отвѣтъ доставилъ пану Тыбурцію нѣкоторое удовольствіе.

— Ого! шесть дней!—заговорилъ онъ, поворачивая меня лицомъ къ себѣ. Шестъ дней много времени. И ты до сихъ поръ никому еще не разболталъ, куда ходишь?

— Никому.

— Правда?

— Никому,—повторилъ я.

— Bene!... похвально!... Можно разсчитывать, что не разболтаешь и впередъ. Впрочемъ, я и всегда считалъ те-

бя порядочнымъ малымъ, встрѣчая тебя на улицахъ. Настоящій „уличникъ“, хотя и судья... А насъ судить будешь? Скажи-ка!

Онъ говорилъ довольно добродушно, но я, все-таки, чувствовалъ себя глубоко оскорбленнымъ, и потому отвѣтилъ довольно сердито:

— Я вовсе не судья. Я Вася.

— Одно другому не мѣшаетъ, и Вася тоже можетъ быть судьей, не теперь, такъ послѣ... Это ужъ, братъ, такъ ведется изстари. Вотъ видишь ли, я Тыбурцій, а онъ Валекъ. Я нищій и онъ нищій. Я, если ужъ говорить откровенно, краду и онъ будетъ красть. А твой отецъ меня судить... ну, и ты когда-нибудь будешь судить—вотъ его!

— Не буду судить Валека, — возразилъ я угрюмо. — Неправда!

— Онъ не будетъ, — вступилась и Маруся, съ полнымъ убѣжденіемъ отстраняя отъ меня столь ужасное подозрѣніе.

Дѣвочка довѣрчиво прижалась къ ногамъ этого урода, а онъ ласково гладилъ жилистой рукою ея бѣлокурые волосы.

— Ну, этого ты впередъ не говори, — сказалъ странный человѣкъ задумчиво, обращаясь ко мнѣ такимъ тономъ, точно онъ говорилъ со взрослымъ. — Не говори, амісе... Эта исторія ведется изстари, всякому свое, *свнм quique*, каждый идетъ своей дорожкой... и кто знаетъ, можетъ быть это и хорошо, что твоя дорога пролегла черезъ нашу. Для тебя хорошо, амісе... потому что имѣть въ груди кусочекъ человѣческаго сердца, вмѣсто холодного камня... понимаешь?...

Я не понималъ ничего, но все же впился глазами въ лицо страннаго человѣка; глаза пана Тыбурція пристально смотрѣли въ мои, и въ нихъ смутно мерцало что-то, какъ будто проникавшее въ мою душу.

— Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малецъ... поэтому скажу тебѣ кратко, а ты когда-нибудь и вспомнишь слова философа Тыбурція: если когда-нибудь придется тебѣ

судить вотъ его, то вспомни, что еще въ то время, когда вы оба были дураки и играли вмѣстѣ,—что уже тогда ты шелъ по дорогѣ, по которой ходятъ въ штанахъ и съ хорошимъ запасомъ провизіи, а онъ бѣжалъ по своей оборванцемъ-безштанникомъ и съ пустымъ брюхомъ... Впрочемъ, пока еще это случится,—заговорилъ онъ, рѣзко измѣнивъ тонъ,—запомни еще хорошенько вотъ что: если ты проболтаешься своему судѣ или хотъ птицѣ, которая пролетитъ мимо тебя въ полѣ, о томъ, что ты здѣсь видѣлъ, то не будь я Тыбурцій Драбъ, если я тебя не повѣшу вотъ въ этомъ каминѣ за ноги и не сдѣлаю изъ тебя копченаго окорока. Это ты, надѣюсь, понялъ?

— Я не скажу никому... я... Можно мнѣ опять придти?

— Приходи, разрѣшаю... *Sub conditionem*... Впрочемъ, ты еще глупъ и лагынѣ не понимаешь. Я уже сказалъ тебѣ насчетъ окорока. Помни!...

Онъ отпустилъ меня и самъ растянулся съ усталымъ видомъ на длинной лавкѣ, стоявшей около стѣнки.

— Возьми вонъ тамъ,—указалъ онъ Еалеку на большую корзину, которую, войдя, оставилъ у порога,—да разведи огонь. Мы будемъ сегодня варить обѣдъ.

Теперь это былъ уже не тотъ человѣкъ, что за минуту пугалъ меня, вращая зрачками, и не гаеръ, потѣшавшій публику изъ-за подачекъ. Онъ распоряжался какъ хозяинъ и глава семейства, вернувшійся съ работы и отдающій приказанія домочадцамъ.

Онъ казался сильно уставшимъ. Платье его было мокро отъ дождя, лицо тоже; волосы слиплись на лбу; во всей фигурѣ видѣлось тяжелое утомленіе. Я въ первый разъ видѣлъ это выраженіе на лицѣ веселаго оратора городскихъ кабаковъ, и опять этотъ взглядъ за кулисы, на актера, изнеможенно отдыхавшаго послѣ тяжелой роли, которую онъ былъ вынужденъ разыгрывать на житейской сценѣ, какъ будто влилъ что-то жуткое въ мое сердце. Это было еще одно изъ тѣхъ откровеній, какими такъ щедро надѣляла меня старая уніатская „каплица.“

Мы съ Валекомъ живо принялись за работу. Валекъ зажегъ лучину и мы отправились съ нимъ въ темный корридоръ, примыкавшій къ подземелью. Тамъ, въ углу, были свалены куски полуистлѣвшаго дерева, обломки крестовъ, старыя доски; изъ этого запаса мы взяли нѣсколько кусковъ и, поставивъ ихъ въ каминъ, развели огонь. Затѣмъ мнѣ пришлось отступить и Валекъ одинъ умѣлыми руками принялся за стряпню. Черезъ полчаса на каминѣ закипало уже въ горшкѣ какое-то варево, а въ ожиданіи, пока оно поспѣетъ, Валекъ поставилъ на трехногій, кое-какъ сколоченный столикъ сковороду, на которой дымились куски жаренаго мяса.

Тыбурцій поднялся.

— Готово?—сказалъ онъ.—Пу, и отлично. Садись, малый, съ нами; ты заработалъ свой обѣдъ... Domine!—крикнулъ онъ затѣмъ, обращаясь къ профессору,—брось иголку, садись къ столу.

— Сейчасъ, — сказалъ тихимъ голосомъ профессоръ, удививъ меня этимъ сознательнымъ отвѣтомъ.

Впрочемъ, искра сознанія, вызванная голосомъ Тыбурція, не проявлялась ничѣмъ больше. Старикъ воткнулъ иголку въ лохмотья и равнодушно, съ тусклымъ взглядомъ, усѣлся на одномъ изъ деревянныхъ обрубковъ, замѣнявшихъ въ подземельи стулья.

Марусю Тыбурцій держалъ на рукахъ. Она и Валекъ ѣли съ жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для нихъ невиданной роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурцій ѣлъ съ разстановкой и, повинуюсь, повидимому, неодолимой потребности говорить, то и дѣло обращался къ профессору съ своей бесѣдой. Бѣдный ученый проявлялъ при этомъ удивительное вниманіе и, наклонивъ голову, выслушивалъ все съ такимъ разумнымъ видомъ, какъ будто онъ понималъ каждое слово. Иногда даже онъ выражалъ свое согласіе кивками головы и тихимъ мычаніемъ.

— Вотъ, domine, какъ немного нужно человѣку, — го-

вориль Тыбурцій.— Не правда ли? Вотъ мы сыты и теперь намъ остается только поблагодарить Бога и клеванскаго капеллана...

— Ага, ага!—поддакнулъ профессоръ.

— Ты это, domine, поддакиваешь, а самъ не понимаешь, причемъ тутъ клеванскій капелланъ... я, вѣдь, тебя знаю... А, между тѣмъ, не будь клеванскаго капеллана, у насъ не было бы жаркаго и еще кое-чего...

— Это онъ вамъ далъ?—спросилъ я.

— У этого малаго, domine, любознательный умъ,—продолжалъ Тыбурцій, попрежнему, обращаясь къ профессору.— Дѣйствительно, его священство далъ намъ все это, хотя мы у него и не просили и даже, быть можетъ, не только его лѣвая рука не знала, что даетъ правая, но и обѣ руки не имѣли объ этомъ ни малѣйшаго понятія... Кушай, domine, кушай...

Изъ этой странной и запутанной рѣчи я понималъ только, что способъ приобрѣтенія былъ не совсѣмъ обыкновенный, и не удержался, чтобы еще разъ не вставить вопроса:

— Вы это взяли... сами?

— Малый не лишень проницательности, — продолжалъ опять Тыбурцій попрежнему, жаль только, что онъ не видѣлъ капеллана; у капеллана брюхо какъ настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объяденіе ему очень вредно. Между тѣмъ, мы всѣ, здѣсь находящіеся, страдаемъ скорѣе излишнею худобой, а потому нѣкоторое количество провизіи не можемъ считать для себя лишнемъ... Такъ ли я говорю, domine?

— Ага, ага!—задумчиво промычалъ опять профессоръ.

— Ну, вотъ! На этотъ разъ вы выразили свое мнѣніе очень удачно, а то я начиналъ уже думать, что у этого малаго умъ бойчѣе, чѣмъ у нѣкоторыхъ ученыхъ... Возвращаясь, однако, къ капеллану, я думаю, что добрый урокъ стоитъ платы, и, въ такомъ случаѣ, мы можемъ сказать, что купили у него провизію... если онъ послѣ этого сдѣлаетъ въ амбарѣ двери покрѣпче, то вотъ мы и квиты...

Впрочемъ,—повернулся онъ вдругъ ко мнѣ,—ты, все-таки, еще глупъ и многого не понимаешь. А вотъ она понимаетъ: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сдѣлалъ, что принесъ тебѣ жаркое?

— Хорошо! — отвѣтила дѣвочка, слегка сверкнувъ бирюзовыми глазками.—Маня была голодна.

Подъ вечеръ этого дня я съ отуманенной головой задумчиво возвращался къ себѣ. Страшныя рѣчи Тыбурціи ни на одну минуту не поколебали во мнѣ убѣжденія, что „воровать не хорошо.“ Напротивъ, болѣзненное ощущеніе, которое я испытывалъ раньше, еще усилилось. Нищіе... воры... у нихъ нѣтъ дома!... Отъ окружающихъ я давно уже зналъ, что со всѣмъ этимъ соединяется презрѣніе. Я даже чувствовалъ, какъ изъ глубины души во мнѣ подымается вся горечь презрѣнія, но я инстинктивно защищалъ мою привязанность отъ этой горькой примѣси, не давая имъ слиться. Въ результатъ смутнаго душевнаго процесса—сожалѣніе къ Валеку и Марусѣ усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Формула „нехорошо воровать“ осталась неприкосновенной, но когда воображеніе рисовало мнѣ оживленное личико моей пріятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ея радостью и радостью Валека.

Въ темной аллеѣ сада я нечаянно наткнулся на отца. Онъ, по обыкновенію, угрюмо ходилъ взадъ и впередъ съ обычнымъ страннымъ, какъ будто отуманеннымъ взглядомъ. Когда я очутился подлѣ него, онъ взялъ меня за плечо.

— Откуда это?

— Я... гулялъ...

Онъ внимательно посмотрѣлъ на меня, хотѣлъ что-то сказать, но потомъ взглядъ его опять затуманился и, махнувъ рукой, онъ зашагалъ по аллеѣ. Мнѣ кажется, что я и тогда понималъ смыслъ этого жеста:

— А, все равно!... *Ея* уже нѣтъ!...

Я солгалъ чуть ли не первый разъ въ жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тѣмъ болѣе. Теперь я

носилъ въ себѣ цѣлый міръ смутныхъ вопросовъ и ощущеній. Могъ ли онъ понять меня? Могъ ли я въ чемъ-либо признаться ему, не измѣняя своимъ друзьямъ? Я дрожалъ при мысли, что онъ узнаетъ когда-либо о моемъ знакомствѣ съ „дурнымъ обществомъ“, но измѣнить этому обществу, измѣнить Валеку и Марусѣ я былъ не въ состояніи. Къ тому же, здѣсь было тоже нѣчто вроде „принципа“: если бы я измѣнилъ имъ, нарушивъ данное слово, то, безъ сомнѣнія, не могъ бы при встрѣчѣ поднять на нихъ глазъ отъ стыда.

### VIII.

#### О с е н ь ю.

Близилась осень. Въ полѣ шла жатва, листья на деревьяхъ начали желтѣть. Вмѣстѣ съ тѣмъ, наша Маруся начала что-то прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худѣла; лицо ея все больше и больше блѣднѣло, глаза потемнѣли, стали больше, вѣки приподымались съ трудомъ.

Теперь я могъ приходить на гору, не стѣсняясь тѣмъ, что члены дурнаго общества бывали дома. Я совершенно свыкъся съ ними и сталъ на горѣ своимъ человѣкомъ.

— Ты славный хлопецъ и когда-нибудь тоже будешь генераломъ!—говаривалъ Туркевичъ.

Темныя молодыя личности дѣлали мнѣ изъ вяза луки и самострѣлы; высокій штыкъ-юнкеръ съ краснымъ носомъ вертѣлъ меня на воздухѣ, какъ щепку, пріучая къ гимнастикѣ. Только профессоръ да Лавровскій какъ будто совершенно не замѣчали моего присутствія. Профессоръ, по всегдашнему, былъ погруженъ въ какія-то глубокія соображенія, а Лавровскій въ трезвомъ состояніи вообще избѣгалъ людскаго общества и жался по угламъ.

Всѣ эти люди помѣщались отдѣльно отъ Тыбурція, который занималъ „съ семействомъ“ описанное выше подземелье. Остальные члены дурнаго общества жили въ такомъ



же подземельи, побольше, которое отдѣлялось отъ перваго двумя узкими корридорами. Свѣту здѣсь было меньше больше сырости и мрака. Вдоль стѣнъ кое-гдѣ стояли деревянные лавки и обрубки, замѣнявшіе стулья. Скамейки были завалены какими-то лохмотьями, замѣнявшими постели. Въ серединѣ, въ освѣщенномъ мѣстѣ, стоялъ верстакъ, на которомъ по временамъ панъ Тыбурцій или кто-либо изъ темныхъ личностей работали столярныя подѣлки; былъ среди дурнаго общества и сапожникъ, и корзинщикъ; но, кромѣ Тыбурція, всѣ остальные ремесленники были или диллетанты, или же какіе-нибудь заморыши, или люди, у которыхъ, какъ я замѣчалъ, слишкомъ сильно тряслись руки, чтобы работа могла идти успѣшно. Полъ этого подземелья былъ закиданъ стружками и всякими обрѣзками; всюду виднѣлись грязь и беспорядокъ, хотя по временамъ Тыбурцій за это сильно ругался и заставлялъ кого-либо изъ жильцовъ подмести и хоть сколько-нибудь убрать это мрачное жилье. Я не часто заходилъ сюда, такъ какъ не могъ привыкнуть къ затхлому воздуху, и, кромѣ того, въ трезвыя минуты здѣсь имѣлъ пребываніе мрачный Лавровскій. Онъ обыкновенно или сидѣлъ на лавочкѣ, спрятавъ лицо въ ладони и раскидавъ свои длинные волосы, или ходилъ изъ угла въ уголъ быстрыми шагами. Отъ этой фигуры вѣяло чѣмъ-то тяжелымъ и мрачнымъ, чего не выносили мои нервы. По остальные сожители бѣдняги давно уже свыклись съ его странностями. Генераль Туркевичъ заставлялъ его иногда переписывать набѣло сочиняемыя самимъ Туркевичемъ прошенія и кляузы для обывателей или же шуточные пасквили, которые потомъ развѣшивалъ на фонарныхъ столбахъ. Лавровскій покорно садился за столикъ въ комнатѣ Тыбурція и по дѣлымъ часамъ выводилъ прекраснымъ почеркомъ ровныя строчки. Раза два мнѣ довелось видѣть, какъ его, безчувственно-пьянаго, тащили сверху въ подземелье. Голова несчастнаго, свѣсившись, болталась изъ стороны въ сторону, ноги безсильно тащились и стучали по каменнымъ ступенькамъ, на лицѣ виднѣлось выраженіе страданія, по щекамъ текли

слезы. Мы съ Марусей, крѣпо прижавшись другъ къ другу, смотрѣли на эту сцену изъ дальняго угла; но Валекъ совершенно свободно шнырялъ между большими, поддерживая то руку, то ногу, то голову безпомощнаго Лавровскаго.

Все, что меня забавляло и интересовало въ этихъ людяхъ, какъ балаганное представленіе на улицахъ, здѣсь, за кулисами, являлось въ своемъ настоящемъ, не прикрашенномъ видѣ и тяжело угнетало дѣтское сердце.

Тыбурцій пользовался здѣсь непререкаемымъ авторитетомъ. Онъ открылъ эти подземелья; онъ здѣсь распоряжался и всѣ его приказанія исполнялись. Вѣроятно, поэтому я не припомню ни одного случая, когда бы кто-либо изъ этихъ людей, несомнѣнно потерявшихъ человѣческій обликъ, обратился бы ко мнѣ съ какимъ-нибудь дурнымъ предложеніемъ. Теперь, умудренный прозаическимъ опытомъ жизни, я знаю, конечно, что тамъ былъ мелкій развратъ, грошевые пороки и гвиль. Но когда эти люди и эти картины встаютъ въ моей памяти, затянутые дымко прошедшаго, я вижу только черты тяжелаго трагизма, глубокаго горя и бѣдствій.

Дѣтство, юность! Это великіе источники идеализма!

Осень все больше вступала въ свои права. Небо все чаще заволакивалось тучками; окрестности тонули въ туманномъ сумракѣ; потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразнымъ и грустнымъ гуломъ въ подземельяхъ.

Мнѣ стоило много труда урываться изъ дому въ такую погоду; впрочемъ, я только старался уйти незамѣченнымъ; когда же возвращался домой весь вымокшій, то самъ развѣшивалъ платье противъ камина и смиренно ложился въ постель, философски отмалчиваясь подъ цѣлымъ градомъ упрековъ, которые лились изъ устъ нянекъ и слуганокъ.

Каждый разъ, придя къ своимъ друзьямъ, я замѣчала, что Маруся все больше хирѣетъ. Теперь она совсѣмъ уже не выходила на воздухъ, и сѣрый камень, — темное, молчаливое чудовище подземелья, — продолжалъ безъ перерывовъ свою ужасную работу, высасывая жизнь изъ маленькаго тѣльца. Дѣвочка теперь большую часть времени проводила въ посте-

ли, и мы съ Валекомъ истощали всё усилія, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихіе переливы ея слабого смѣха.

Теперь, когда я окончательно сжился съ дурнымъ обществомъ, грустная улыбка Маруси стала мнѣ почти такъ же дорога, какъ улыбка сестры; но тутъ никто не ставилъ мнѣ вѣчно на видъ мою испорченность, тутъ не было ворчливой няньки, тутъ я былъ нуженъ, я чувствовалъ, что каждый разъ мое появленіе вызываетъ румянецъ оживленія на щекахъ дѣвочки. Валекъ обнималъ меня, какъ брата, и даже Тыбурцій по временамъ смотрѣлъ на насъ троихъ какими-то странными глазами, въ которыхъ что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; съ него сбѣжали послѣднія тучи и надъ просыхающей землей, въ послѣдній разъ передъ наступленіемъ зимы, засіяли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверхъ, и здѣсь она какъ будто оживала; дѣвочка смотрѣла вокругъ широко раскрытыми глазами, на щекахъ ея загорался румянецъ; казалось, что вѣтеръ, обдававшій ее своими свѣжими, живительными взмахами, возвращалъ ей частицы жизни, похищенные сѣрыми камнями подземелья. Но это продолжалось такъ недолго...

Между тѣмъ, надъ моей головой тоже стали собираться тучи.

Однажды, когда я, по обыкновенію, утромъ проходилъ по аллеямъ сада, я увидѣлъ въ одной изъ нихъ отца, а рядомъ стараго Януша изъ замка. Старикъ подобострастно кланялся и что-то говорилъ, а отецъ стоялъ съ угрюмымъ видомъ и на лбу его рѣзко обозначилась складка нетерпѣливаго гнѣва. Наконецъ, онъ протянулъ руку, какъ бы отстраняя Януша съ своей дороги, и сказалъ:

— Уходите! Вы просто старый сплетникъ!

Старикъ какъ-то заморгалъ и, держа шапку въ рукахъ, опять забѣжалъ впередъ и загородилъ отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гнѣвомъ. Янушъ говорилъ тихо и словъ его мнѣ не было слышно, зато отрывистыя фразы отца доносились совершенно явственно, падая точно удары хлыста:

— Не вѣрю ни одному слову... Что вамъ надо отъ этихъ людей? Гдѣ же доказательства?.. Словесныхъ доносовъ я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать... Молчать! Это уже мое дѣло!... Не желаю и слушать!

Наконецъ, онъ такъ рѣшительно отстранилъ Януша, что тотъ не посмѣлъ болѣе надѣлать ему; отецъ повернулъ въ боковую аллею, а я побѣжалъ къ калиткѣ.

Я сильно не долюбивалъ стараго филина изъ замка и теперь сердце мое дрогнуло предчувствіемъ. Я понялъ, что подслушанный мною разговоръ относился къ моимъ друзьямъ и, быть можетъ, также ко мнѣ.

Тыбурцій, которому я рассказалъ объ этомъ случаѣ, скорчилъ ужасную гримасу:

— У-уфъ, малый!... Какая это неприятная новость!... О, проклятая старая лисица!

— Отецъ его прогналъ,—замѣтилъ я, въ видѣ утѣшенія.

— Твой отецъ, малый, самый лучший изъ всѣхъ судей, начиная съ Соломона... Однако, знаешь ли ты, что такое *curriculum vitae*? Не знаешь, конечно. Ну, а формулярный списокъ знаешь? Ну, вотъ видишь ли: *curriculum vitae* это есть формулярный списокъ человѣка, не служившаго въ уѣздномъ судѣ, и если только старый сынъ кое-что пронюхалъ и сможетъ доставить твоему отцу мой списокъ, то... ахъ, клянусь Богородицей, не желалъ бы я попасть къ судѣ въ лапы...

— Развѣ онъ злой? —спросилъ я, вспомнивъ отзывы Валека.

Нѣтъ, нѣтъ, малый! Храни тебя Богъ подумать это объ отцѣ. У твоего отца есть сердце; быть можетъ, онъ уже и теперь знаетъ все, что можетъ сказать ему Янушъ, но онъ молчитъ... онъ не считаетъ нужнымъ травить стараго, беззубаго звѣря въ его послѣдней берлогѣ... Но, малый, какъ бы тебѣ объяснить это?... Твой отецъ служить господину, котораго имя—законъ. У него есть глаза и сердце только до тѣхъ поръ, пока законъ спитъ себѣ на полкахъ; когда же этотъ господинъ сойдетъ оттуда и скажетъ

твоему отцу: „а ну-ка, судья, не взятыся ли намъ за Тыбурція Драба или какъ тамъ его зовутъ?“ съ этого момента судья тотчасъ запираетъ свое сердце на ключъ и тогда у судьи такія твердыя лапы, что скорѣе міръ повернется въ другую сторону, чѣмъ панъ Тыбурцій вывернется изъ его рукъ... Понимаешь ты, малый?... И за это я и всё еще больше уважаемъ твоего отца, потому что онъ вѣрный слуга своего господина, а такіе люди рѣдки. Будь у закона все такіе слуги, онъ могъ бы спать себѣ спокойно на своихъ полкахъ и никогда не просыпаться... Вся бѣда моя въ томъ, что у меня съ закономъ вышла когда-то, давно уже, ссора... ахъ, малый, очень крупная ссора!

Съ этими словами Тыбурцій всталъ, взялъ на руки Марусю и, отойдя съ нею въ дальній уголь, сталъ цѣловать ее, прижимаясь своей безобразной головой къ ея маленькой груди. А я остался на мѣстѣ и долго стоялъ въ одномъ положеніи, подъ впечатлѣніемъ странныхъ рѣчей страннаго человѣка. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватилъ сущность того, что говорилъ объ отцѣ Тыбурцій, и фигура отца въ моемъ представленіи еще выросла, облеклась ореоломъ грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величія. Но, вмѣстѣ съ этимъ чувствомъ, усиливалось и другое, горькое чувство... „Вотъ онъ какой,—думалось мнѣ,—но все же онъ меня не любить.“

## IX.

### Кула.

Ясные дни миновали и Марусѣ опять стало хуже. На всѣ наши ухищренія, съ цѣлью занять ее, она смотрѣла равнодушно своими большими, потемнѣвшими и неподвижными глазами и мы давно уже не слышали ея смѣха. Я сталъ носить въ подземелье свои игрушки, но и онѣ развлекали дѣвочку только на короткое время. Тогда я рѣшился обратиться къ своей сестрѣ Сонѣ.

У Сони была большая кукла съ ярко раскрашеннымъ лицомъ и роскошными льняными волосами,—подарокъ покойной матери. На эту куклу я возлагалъ большія надежды, и потому, отозвавъ сестру въ боковую аллею сада, попросилъ дать мнѣ ее на время. Я такъ убѣдительно просилъ ее объ этомъ, такъ живо описалъ ей бѣдную больную дѣвочку, у которой никогда не было своихъ игрушекъ, что Соня, которая сначала только прижимала куклу къ себѣ, отдала мнѣ ее и общалась въ теченіе двухъ-трехъ дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о куклѣ.

Дѣйствіе этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло всѣ мои ожиданія. Маруся, которая увядала, какъ цвѣтокъ осенью, казалось, вдругъ опять ожила. Она такъ крѣпко меня обнимала, такъ звонко смѣялась, разговаривая съ своей новой знакомой... Маленькая кукла сдѣлала почти чудо: Маруся, давно уже не сходявшая съ постели, стала ходить, водя за собой свою бѣлокурую дочку, и по временамъ бѣгала даже, попрежнему, шлепая по полу слабыми ногами.

За то мнѣ эта кукла доставила очень много тревожныхъ минутъ. Прежде всего, когда я несъ ее за пазухой, направляясь съ нею на гору, въ дорогѣ мнѣ попался старый Янушъ, который долго провожалъ меня глазами и качалъ головой. Потомъ, дня черезъ два, старушка-нянька замѣтила пропажу и стала совѣтаться по угламъ, вездѣ разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными увѣреніями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумѣніе слуганокъ и возбуждала подозрѣніе, что тутъ не простая пропажа. Отецъ ничего еще не зналъ, но къ нему опять приходилъ Янушъ и былъ прогнанъ на этотъ разъ съ еще большимъ гнѣвомъ; однако, въ тотъ же день отецъ остановилъ меня на пути къ садовой калиткѣ и велѣлъ остаться дома. На слѣдующій день повторилось то же, и только черезъ четыре дня я всталъ рано утромъ и махнулъ черезъ заборъ, пока отецъ еще спалъ.

На горѣ дѣла опять были плохи. Маруся опять слегла и ей стало еще хуже: лицо ея горѣло страннымъ румянцемъ, бѣлокурые волосы раскидались по подушкѣ; она никого не узнавала. Рядомъ съ ней лежала злополучная кукла, съ розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщилъ Валеку свои опасенія, и мы рѣшили, что куклу необходимо унести обратно, тѣмъ болѣе, что Маруся этого и не замѣтитъ. Но мы ошиблись: какъ только я вынулъ куклу изъ рукъ лежавшей въ забытій дѣвочки, она открыла глаза, посмотрѣла передъ собой смутнымъ взглядомъ, какъ будто не видя меня, не сознавая, что съ ней происходитъ. и вдругъ заплакала тихо, тихо, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ жалобно, и въ исхудаломъ лицѣ, подъ покровомъ бреда, мелькнуло выраженіе такого глубокаго горя, что я тотчасъ же съ испугомъ положилъ куклу на прежнее мѣсто. Дѣвочка улыбнулась, прижала куклу къ себѣ и успокоилась. Я понималъ, что хотѣлъ лишить моего маленькаго друга первой и послѣдней радости ся 'недолгой жизни.

Валекъ робко посмотрѣлъ на меня.

— Какъ же теперь будетъ?—спросилъ онъ грустно.

Тыбурцій, сидя на лавочкѣ съ печально понуренной головой, также смотрѣлъ на меня вопросительнымъ взглядомъ. Поэтому я постарался придать себѣ видъ, по возможности, безпечный и сказалъ:

— Ничего! Нянька, навѣрное, уже забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этотъ разъ возвращался домой, у калитки мнѣ опять попался Янушъ; Соню я засталъ съ заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющій взглядъ и что то ворчала беззубымъ шамкавшимъ ртомъ.

Отецъ спросилъ у меня, куда я ходилъ, и, выслушавъ внимательно обычный отвѣтъ, ограничился тѣмъ, что повторилъ мнѣ приказъ ни подъ какимъ видомъ не отлучаться изъ дому безъ его позволенія. Приказъ былъ категориченъ и очень рѣшителенъ; послушаться его я не посмѣлъ, но не рѣшался также и обратиться къ отцу за позволеніемъ.

Прошло четыре томительныхъ дня. Я грустно ходилъ по саду и съ тоской смотрѣлъ по направленію къ горѣ, ожидая, кромѣ того, грозы, которая собиралась надъ моей головой. Что будетъ—я не зналъ, но на сердцѣ у меня было тяжело. Меня въ жизнь никто еще не наказывалъ; отецъ не только не трогалъ меня пальцемъ, но я отъ него не слышалъ никогда ни одного рѣзкаго слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствіе.

Наконецъ, меня позвали къ отцу, въ его кабинетъ. Я вошелъ и робко остановился у притолки. Въ окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отецъ нѣкоторое время сидѣлъ въ своемъ креслѣ передъ портретомъ матери и не поварачивался ко мнѣ. Я слышалъ тревожный стукъ собственнаго сердца.

Наконецъ, онъ повернулся. Я поднялъ на него глаза и тотчасъ же ихъ опустилъ въ землю. Лицо отца показалось мнѣ страшнымъ. Прошло около полуминутой и въ теченіе этого времени я чувствовалъ на себѣ тяжелый и неподвижный, подавляющій взглядъ.

— Ты взялъ у сестры куклу?

Эти слова упали вдругъ на меня такъ отчетливо и рѣзко, что я вздрогнулъ.

— Да,—отвѣтилъ я тихо.

— А знаешь ты, что это подарокъ матери, которымъ ты долженъ бы дорожить, какъ святыней?... Ты укралъ ее?...

— Нѣтъ,—сказалъ я, подымая голову.

— Какъ нѣтъ?—вскрикнулъ вдругъ отецъ, отталкивая кресло.—Ты укралъ ее и снесъ... Кому ты снесъ ее?... Говори!

Онъ быстро подошелъ ко мнѣ и положилъ мнѣ на плечо тяжелую руку. Я съ усиліемъ поднялъ голову и взглянулъ вверхъ. Лицо отца было блѣдно. Складка боли, которая со смерти матери залегла у него между бровями, не разгладилась и теперь, но глаза горѣли мрачнымъ гнѣвомъ. Я весь съежился. Изъ этихъ глазъ, глазъ отца глянуло на меня, какъ мнѣ показалось, безуміе или ненависть.



— Ну, что-жъ ты?... Говори! — и рука, державшая мое плечо, сжала его сильнѣе.

— Н-не скажу, отвѣтилъ я тихо.

— Нѣтъ!... скажешь! — отчеканилъ отецъ и въ голосѣ его зазвучала угроза.

— Не скажу, — прошепталъ я еще тише.

— Скажешь, скажешь!...

Онъ повторялъ это слово сдавленнымъ голосомъ, точно оно вырывалось у него съ болью и усиліемъ. Я чувствовалъ, какъ дрожала его рука, и, казалось, слышалъ даже kloко-тавшее въ груди его, бѣшенство. И я все ниже опускалъ голову, и слезы одна за другой капали изъ моихъ глазъ на полъ; но я все повторялъ едва слышно:

— Нѣтъ... не скажу... никогда, никогда не скажу...

Въ эту минуту во мнѣ сказался сынъ моего отца. Онъ не добился бы отъ меня иного отвѣта самыми страшными муками. Въ моей груди, на встрѣчу его угрозамъ, подымалось едва сознанное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь къ тѣмъ, чьей выдачи онъ у меня требовалъ.

Отецъ тяжело перевелъ духъ. Я съежился еще болѣе, горькія слезы жгли мои щеки. Я ждалъ.

Изобразить чувство, которое я испытывалъ въ то время, очень трудно. Я зналъ, что въ его груди кипитъ бѣшенство, что, быть можетъ, черезъ секунду мое тѣло забьется безпомощно въ его сильныхъ и изстуженныхъ рукахъ. Что онъ со мной сдѣлаетъ?... швырнетъ... изломаетъ... но мнѣ теперь кажется, что я боялся не этого... Даже въ эту страшную минуту я любилъ этого человѣка, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, инстинктивно чувствовалъ, что вотъ сейчасъ онъ бѣшеннымъ насиліемъ разобьетъ мою любовь въдребезги, что затѣмъ, пока я буду жить въ его рукахъ и послѣ, навсегда, навсегда въ моемъ сердцѣ вспыхнетъ та же пламенная ненависть, которая мелькнула для меня въ его мрачныхъ глазахъ.

— Эге-ге! — раздался вдругъ за открытымъ окномъ рѣзкій голосъ Тыбурція. — Я вижу, — продолжалъ Тыбурцій, вхо-

дя черезъ двѣ-три секунды въ комнату,—вижу моего молодого друга въ затруднительномъ положеніи.

Отецъ встрѣтилъ его мрачнымъ, угрожающимъ взглядомъ, но Тыбурцій выдержалъ его спокойно. Онъ былъ серьезенъ, не кривлялся и глаза его глядѣли какъ-то особенно грустно.

— Панъ судья!—заговорилъ онъ мягко,—вы человѣкъ справедливый... отпустите ребенка. Малый былъ въ дурномъ обществѣ, но видитъ Богъ, онъ не сдѣлалъ дурного дѣла, и если его сердце лежитъ къ моимъ оборваннымъ бѣднягамъ, то, клянусь Богородицей, лучше велите меня повѣсить, но я не допущу, чтобы мальчикъ пострадалъ изъ-за этого. Вотъ твоя кукла, малый!...

Онъ развязалъ узелокъ и вынулъ оттуда куклу.

Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. Въ лицѣ виднѣлось изумленіе.

— Что это значить?—спросилъ онъ, наконецъ.

— Отпустите мальчика,—повторилъ Тыбурцій, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову.— Вы ничего не добьетесь отъ него угрозами, а, между тѣмъ, я охотно расскажу вамъ все, что вы желаете знать... Выйдемъ, панъ судья, въ другую комнату.

Я все еще стоялъ на томъ же мѣстѣ, когда дверь изъ кабинета отворилась и оба собесѣдники вышли оттуда. Я опять почувствовалъ на своей головѣ чью-то руку и вздрогнулъ. То была рука отца, нѣжно гладившаго мои волосы.

Тыбурцій взялъ меня на руки и посадилъ, въ присутствіи отца, къ себѣ на колѣна.

— Приходи къ намъ,—сказалъ онъ,—отецъ тебя отпустить попросится съ моею дѣвочкой. Она... она умерла.

Голосъ Тыбурція дрогнулъ, онъ странно заморгалъ глазами, но тотчасъ всталъ, поставилъ меня на полъ, выпрямился и быстро ушелъ изъ комнаты.

Я вопросительно поднялъ глаза на отца. Теперь передо мной стоялъ другой человѣкъ, но въ этомъ именно человѣкѣ я нашелъ что-то родное, чего тщетно искалъ въ немъ прежде. Онъ смотрѣлъ на меня обычнымъ своимъ, задум-

чивымъ взглядомъ, но теперь въ этомъ взглядѣ виднѣлся отгѣнокъ удивленія и какъ будто вопросъ. Казалось, и онъ только теперь сталъ узнавать во мнѣ знакомыя черты своего роднаго сына.

И довърчиво взялъ его руку и сказалъ:

— Я, вѣдь, не укралъ... Соня сама дала мнѣ, на время...

— Д-да,—отвѣтилъ онъ задумчиво,—я знаю... Я виновать передъ тобою, мальчикъ, и ты постарайся когда-нибудь забыть это, не правда ли?

И съ живостью схватилъ его руку и сталъ ее цѣловать. И зналъ, что теперь никогда уже онъ не будетъ смотрѣть на меня тѣми страшными глазами, какими смотрѣлъ за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ, и долго сдерживаемая любовь невозбранно хлынула цѣлымъ потокомъ. Теперь я уже его не боялся.

— Ты отпустишь меня теперь на гору?—спросилъ я, вспомнивъ вдругъ приглашеніе Тыбурціа.

— Д-да... Ступай, ступай, мальчикъ, прощайся... —ласково проговорилъ онъ все еще съ тѣмъ же отгѣнкомъ недоумѣнія въ голосѣ.—Да, впрочемъ, постой... пожалуйста, мальчикъ, погоди немного.

Онъ ушелъ въ свою спальню и, черезъ минуту выйдя оттуда, сунулъ мнѣ въ руку нѣсколько бумажекъ.

— Передай это... Тыбурцію... Скажи, что я покорнѣйше прошу его... понимаешь?... покорнѣйше прошу взять эти деньги... отъ тебя... Ты понялъ?... Да еще скажи,—добавилъ отецъ, какъ будто колеблясь,—скажи, что если онъ знаетъ одного тутъ... Ѳедоровича, то пусть скажетъ, что этому Ѳедоровичу лучше уйти изъ нашего города. Теперь ступай, мальчикъ, ступай скорѣе.

Я догналъ Тыбурціа уже на горѣ и, запыхавшись, нескладно исполнилъ порученіе отца.

— Покорнѣйше просить... отецъ...—и я сталъ совать ему въ руку данныя отцомъ деньги.

Я не глядѣлъ ему въ лицо. Деньги онъ взялъ и мрач-

но выслушалъ дальнѣйшее порученіе относительно Ѳедоровича.

Въ подземельи, въ темномъ углу, на лавочкѣ, лежала Маруся. Слово смерть не имѣетъ еще полного значенія для дѣтскаго слуха, и горькія слезы только теперь, при видѣ этого безжизненнаго тѣла, сдавили мнѣ горло. Моя маленькая пріятельница лежала серьезная и грустная, съ печально вытянутымъ личикомъ. Закрытые глаза слегка ввалились и еще рѣзче оттѣнились синевой. Ротикъ немного раскрылся, съ выраженіемъ дѣтской печали. Маруся какъ будто отвѣчала этой гримаской на наши слезы.

Профессоръ стоялъ у изголовья и безучастно качалъ головою. Штыкъ-юнкеръ стучалъ въ углу топоромъ, готовя, съ помощью нѣсколькихъ темныхъ личностей, гробикъ изъ старыхъ досокъ, сорванныхъ съ крыши часовни. Лавровскій, трезвый и съ выраженіемъ полного сознанія, убиралъ Марусю собранными имъ самымъ осенними цвѣтами. Валець спалъ въ углу, вздрагивая сквозь сонъ всѣмъ тѣломъ и по временамъ нервно всхлипывая.

### З а к л ю ч е н і е.

Вскорѣ послѣ описанныхъ событій члены дурнаго общества разсѣялись въ разныя стороны. Остался только профессоръ, попрежнему, до самой смерти слонявшійся по улицамъ города, да Туркевичъ, которому отецъ давалъ по временамъ кое-какую письменную работу. Я, съ своей стороны, пролилъ немало крови въ битвахъ съ еврейскими мальчиками, терзавшими профессора напоминаніемъ о рѣжущихъ и колющихъ орудіяхъ.

Штыкъ-юнкеръ темныя личности отпразднели куда-то искать счастья. Тыбурцій и Валець совершенно неожиданно исчезли, и никто не могъ сказать, куда они направились

теперь, какъ никто не знаетъ, откуда они пришли въ нашъ городъ.

Старая часовня сильно пострадала отъ времени. Сначала у нея провалилась крыша, продавивъ потолокъ подземелья. Потомъ вокругъ часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнѣе; еще громче завываютъ въ ней филины, а огни на могилахъ темными осенними ночами вспыхиваютъ синимъ, зловѣщимъ свѣтомъ.

Только одна могила, огороженная частоколомъ, каждую весну зеленѣла свѣжимъ дерномъ, пестрѣла цвѣтами.

Мы съ Соней, а иногда даже съ отцомъ, посѣщали эту могилу; мы любили сидѣть на ней въ тѣни смутно лепечущей березы, въ виду тихо сверкавшаго въ туманѣ города. Тутъ мы съ сестрой вмѣстѣ читали, думали, дѣлились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и намъ оставить тихій родной городъ, здѣсь же, въ послѣдній день, мы оба, полные жизни и надежды, произносили надъ маленькой могилкой свои обѣты...

К о н е ц ъ.



Владимиръ Короленко.

---

# СЛѢПІЯ МУЗИКАНТЪ

(СТУДИЯ)

---

ПРЕВЕДЪ ОТЪ РУССКИ:

*Ив. Д. Л.*



**СОФІЯ**

Печатница Ив. П. Даскаловъ и С-ие

1893.





## ГЛАВА I.

### I.

Въ едно богато семейство въ югозападна Руссия се роди едно дѣте прѣвъ една тиха нощъ. Младата майка лежеше тихо и неподвижно, но когато новороденото за прѣвъ пѣтъ заплака тихо и жалостно, тя почна да се прѣмѣта съ затворени очи въ постелята си. Нейнитѣ устни бѣбрѣхъ полегка и на блѣдното ѣ лице, съ мѣжки, почти дѣтински черти, се появи една гримаса отъ нетърпима болка, както у галено дѣте, което прѣтърпява неиспитана до тогасъ тага.

Бабата се наведѣ надъ нейнитѣ устни, които тихо бѣбрѣхъ нѣщо-си.

— Защо . . . защо е то така? — питаше болната съвсѣмъ тихо.

Бабата не разбра питанието. Дѣтето повторно заплака. По лицето на болната прѣмина отражение отъ силно страдание, а отъ затворенитѣ ѣ очи се търкулна една едра сълза.

— Защо, защо? — както попрѣди питаше тя.

Тозъ пѣтъ бабата разбра питанието и спокойно отговори:

— Вие питате, защо плаче дѣтето?

Туй е тѣй всѣкога, бѣдѣте спокойни.

Обаче майката не можеше да бѣде спокойна. Тя се стрѣскаше при всѣки новъ плачъ на дѣтето и все питаше съ нетърпѣние:

— Защо . . . тѣй . . . тѣй страшно?

Бабата не виждаше нищо особено въ дѣтинския плачъ и, като си помисли, че майката говори като занесена, и навѣрно, тя бѣднува, не обръщаше внимание на думитѣ ѣ и се захвана съ дѣтето.

Младата майка млъкна и само отъ време на време едно тежко страдание, което не можеше да си пробие път на вънъ, нито съ движения, нито съ думи, истръгваше отъ нейнитѣ очи едри сълзи. Тѣ се прѣцеждаха прѣвъ чернитѣ ѝ гъсти рѣсници и пълзѣха по блѣднитѣ ѝ, като мряморъ, бузи.

Може би, майчиното сърдце прѣдчувствуваше, че заедно съ новороденото дѣте се явила на свѣта, тъмна и безисходна тъга, която е надвиснала надъ люлката, за да придружава новия животъ до самия гробъ.

Може би, впрочемъ, това да бѣше и истинско блънувание. Както и да е, дѣтето се роди слѣпо.

## II.

Отъ начало никой не забѣлѣзваше това. Момчето гледаше съ такъвъ неясенъ и неопрѣдѣленъ погледъ, съ какъвто всички новородени дѣца гледатъ до извѣстна възраст. Днитѣ изминаваха, животътъ на новия човѣкъ се броеше вече на недѣли. Очитѣ му се изясниха, отъ тѣхъ се отмахна мътната ципица, зеницата (гледецътъ) поиспъкна. Но дѣтето не си обръщаше главата къмъ лжчитѣ на свѣтлината, които проникваха въ стаята заедно съ веселото чуруликание на птицитѣ и съ шумолението на зелениѣ буки, които се люлѣеха прѣдъ самитѣ прозорци въ гъстата селска градина. Майката, като се пооправи, първа съ безпокойствие забѣлѣза необикновеното изражение на дѣтинското лице, което си оставаше неподвижно и нѣкакъ си сериозно — не както у всичкитѣ дѣца.

Младата майка гледаше на хората като уплашена гърлица и ги питаше:

— Кажете ми, защо е то такъво?

— Какво? спокойно пятаха по-далечнитѣ хора. — То не се различава въ нищо отъ другитѣ дѣца на сѣщата възраст.

— Погледнитѣ, какъ необикновено търси нѣщо съ ржцѣтѣ си.

— Дѣтето не може още да координира движението на ржцѣтѣ съ зрителнитѣ впечатлѣния, — отговаряше докторътъ.

— Ами защо пъкъ то гледа се въ една посока?... То... то е слѣпо! — истръгна се изведнажъ отъ майчинитѣ гърди едно страшно прѣдчувствие, и никой не можеше да я успокои.

Докторътъ взѣ дѣтето въ рацѣтъ си, бърже го обърна къмъ свѣтлината и погледна въ очитѣ му. Той се понамръщи и като каза нѣколко успокоителни и тъмни фрази, отидѣ си съ общание, че ще дойде подиръ два дена.

Майката плачеше и се тжгуваше, като застрѣлена птица, притискайки дѣтето въ прѣгрѣдкитѣ си, при това неговитѣ очи гледахъ съ оня сжщия неподвиженъ и суровъ погледъ.

Докторътъ дѣйствително дойдѣ подиръ два дена, като бѣ взѣлъ съ себе и офталмоскопа. Той запали една свѣщъ, приближаваше я и я отдалечаваше отъ окоето на дѣтето, погледваше въ него и, най-послѣ каза навжсено:

— За жалость, госпожо, вие не сте се излѣгали.... момчето е наистина слѣпо и, при това, безъ всѣкаква надежда.

Майката изслуша това извѣстие съ спокойна скръбъ.

— Азъ знаехъ това отдавна, проговори тя.

### III.

Семейството, къмъ което принадлежеше слѣпото момче, не бѣше многобройно. Освенъ майката, която вече споменахме, то състоеше още и отъ бащата и отъ „дѣда Максима“, както го наричавъ домашнитѣ му и чуждитѣ хора. Бащата не се отличавахе въ нищо отъ другитѣ селски богати землевладѣлци въ юго-западна Руссия; той бѣше добродушенъ, даже ако искате и добъръ, добръ нагледваше работницитѣ си и доста обичаше да прави и прѣправя воденици. Тази негова страсть му отнѣмаше всичкото врѣме и поради това гласътъ му се чуваше въ къщи само въ извѣстни, опрѣдѣлени часове прѣзъ дена: кждѣ обѣдъ, на заранъ, когато похапваше и при други подобни случаи. Тогава той всѣкога произнасяше неизмѣняемата фраза: „добръ ли ми си миличка?“ подиръ което сѣдваше на трапезата и вече за нищо не отваряше дума, само отъ врѣме на врѣме съобщаваше нѣщо за джбовитѣ ости и колела. Разбира се, че неговото мирно и просташко съществуване малко се отражаваше върху душевния строй на сина му.

Но за туй пѣкъ „дѣдо Максимъ“ бѣше съвсѣмъ другъ човѣкъ. Прѣди десетъ години „той“ бѣше извѣстенъ за най опасенъ човѣкъ не само въ околноститѣ на чифлика си, но и на контрактитѣ\*) въ Киѣвъ. Всички се чудѣхъ, какъ е възможно, щото отъ такъва една благородна фамилия, каквато е фамилията на госпожа Попелска, отъ рода на Яценка, да излѣзатъ такъвъ единъ ужасенъ човѣчецъ. Никой не знаеше, какъ трѣбва да се отнася съ него и какъ може да му угоди. На любовноститѣ на богаташитѣ той отговаряше дързостно, а на селенитѣ своеволно и така грубо, щото и най смирения отъ „Шляхтичитѣ“ би му отвърналъ съ плѣсница. Най-послѣ, за голѣма радостъ на всички благонамѣрени хора, дѣдо Максимъ силно се разсърди на Австрийцитѣ за нѣщо-си и трѣгна за въ Италия; тамъ той се сдружи съ подобния нему непокоренъ и еретикъ Гарибалди, който споредъ разказванието на господа землевладѣлцитѣ, се побратимилъ съ дявола и за пара не гледалъ дори и „Папата“. Разбира се, че по този начинъ „дѣдо Максимъ“ за винаги погуби безпокойната си схизматическа душа; за туй пѣкъ „Контрактитѣ“ минавахъ съ по-малко скандали и много благородни майки прѣстанахъ да се грижатъ за участъта на синоветѣ си.

Трѣбва и Австрийцитѣ да сж се разсърдили на „дѣда Максима“. Отъ врѣме на врѣме въ в. „Куриеръ“, най-любимия вѣстникъ на господа землевладѣлцитѣ, спомѣнаваше се въ реляций неговото име въ числото на рѣшителнитѣ Гарибалдови съучастници, до като единъ пѣтъ тѣ узнахъ отъ сжщия в. „Куриеръ“, че дѣдо Максимъ падналъ заедно съ коня си на бойното поле. Разяренитѣ Австрийци, които отдавна, очевидно, точехъ зѣби на яростния волинецъ\*\*) изсѣкли го на парчета, като зелье.

— Недобрѣ свърши живота си Максимъ, — си рекахъ помежду си знатнитѣ и приписахъ това на специалното покровителство на св. Петра за своя намѣстникъ (папата). Максима го считахъ за умрѣлъ.

---

\*) Контракти — мѣстно название на нѣкогашнитѣ прочути киевски панаири.

\*\*) Човѣкъ отъ Волинската губерния.

Обаче, излѣзѣ на явѣ, че Австрийскитѣ сабли не могли да изгонятѣ отѣ Максима неговата упорита душа и тя си останала, макарѣ и въ разнебитено тѣло. Гарибалдовитѣ съучастници изтрѣгнаха отѣ навалицата достойния си другарѣ, проводили го нѣгдѣ въ болница и, ето ти, подирѣ нѣколко години, неочаквано се появи Максимѣ въ къщата на сестра си, гдѣто и остана да живѣе.

Сега вече той не мислѣше за дуели. Дѣсната му нога бѣше отсѣчена, за туй той ходѣше съ патерица, а лѣвата му ръка бѣше поврѣдена и му служеше само малко-много да се опира на тояжката си. Изобщо той стана по-сериозенѣ, по-тихѣ, само отѣ врѣме на врѣме острия му язикѣ дѣйствуваше тѣй сполучливо, както нѣкога саблята му. Той прѣстана да ходи на „Контрактитѣ“, редко излизаше и по-голѣмата частѣ отѣ свободното си врѣме прѣкарваше въ библиотеката си съ четене на нѣкакви книги, за които никой нищо не знаеше съ изключение на априорното прѣдположение, че книгитѣ сѣ безбожни. Той тѣй сѣщо пишеше по нѣщо, но понеже неговитѣ работи не се печатахѣ въ „Куриерѣ“, то никой не имѣ приписваше сериозно значение.

Въ туй врѣме, когато въ селската къща се яви и почна да расте едно ново сѣщество, кѣсо остриганитѣ коси на дѣда Максима -взѣхѣ да побѣляватѣ. Рамената му се поиздигнахѣ отѣ постоянния напорѣ на патерицитѣ и тѣлото му прие квадратна форма. Необикновения изгледѣ, начумеренитѣ вѣжди, тропотѣтъ на патерицитѣ и кѣлбата отѣ тютюневия пушекѣ, които постоянно го обикаляхѣ, защото не изваждаше никога лулата отѣ устата си, — всичко това плашеше чуждитѣ хора и само ближнитѣ на инвалида знаехѣ, че въ това нарѣзано тѣло туна горещо и добро сърдце, а въ голѣмата му квадратна глава, покрита съ гѣста коса, работи неукротима мислѣ.

Но даже и ближнитѣ хора не знаехѣ, съ какѣвъ въпросѣ е заета неговата мислѣ. Тѣ виждахѣ само, че дѣдо Максимѣ, обиколень отѣ синѣ димѣ, съ мѣтенѣ погледѣ и начумерено събрани вѣжди, сѣди по нѣкога по цѣли часове на едно мѣсто. Между това, изуродования борецѣ мислѣше, че животѣтъ е борба и, че въ него нѣма мѣсто за инвалидитѣ. Дохождаше му на умѣ, че той за винаги е изваденѣ отѣ редовитѣ на

борбата и сега му прѣдстои съвсѣмъ друго нѣщо. Струваше му се, че той е рицаръ, когото животътъ е свалилъ отъ сѣдлото и го смазалъ. Не е ли малодушие да се виешъ въ праха подобно на единъ стѣпканъ червей; не е ли малодушие да се хващашъ за стрѣмето на побѣдителя и да испросвашъ отъ него тия жалки дни, които ти оставатъ да доживѣешъ?

До като дѣдо Максимъ съ хладно мжжество обсеждаше тази гореща мисль, като наводждаше доводи рго и contra, прѣдъ очитѣ му почна да се мѣрка едно ново същество, на което съдбата отредила да се яви на свѣта като инвалидъ. Отъ начало той не обръщаше внимание на слѣпото дѣте, но подирѣ той се интересува поради необикновеното сходство на своята съдба съ онази на момчето.

— Хмъ . . . да! — каза той веднажъ замислено, като поглеждаше напрѣки дѣтето, — туй дѣте е тѣй сжщо инвалидъ. Ако човѣкъ ни вземе и двамата въ едно, едва ли ще излѣзне отъ насъ единъ човѣчецъ както трѣбва.

Отъ тогава погледътъ му въѣ да се спира по-често и по-често върху дѣтето.

#### IV.

Дѣтето се родило слѣпо. Кой е виноватъ въ неговото нещастие? Никой! Туку не само, че нѣмаше нито дия отъ чиято и да е „зла воля“, но даже и самата причина на нещастieto е скрита нѣгдѣ въ дълбочината на тайнственихъ и сложни процеси на живота. Но при все това, всѣкога, когато майката поглеждаше слѣпото дѣтенце, нейното сърдце се свиваше отъ силна болка. Дѣйствително тя, като майка, страдеше въ този случай отъ недостатъка на нейния синъ и отъ мрачното прѣдчувствие за тежкото бъдеще, което очакваше нейното дѣте; но, освѣнъ тѣзи чувства, въ дълбочината на сърдцето ѝ гризѣше я тѣй сжщо съзнанието, че *причината* на нещастieto лежи въ видъ на грозна *възможностъ* у родителитѣ, които му дали животъ . . . Това бѣше достатъчно, щото малкото дѣте съ красивитѣ си, но слѣпи очи да стане центръ въ семейството, безсѣзнателенъ деспотъ, защото всичко въ къщи вървѣше по неговитѣ прищевки.

Кой знае, какво би станало подиръ врѣме отъ това дѣте, което бѣше прѣдрасположено къмъ злоба отъ самата сѣдба поради нещастieto си и въ което всичко околно се стремѣше да развие егоизма, ако необикновената сѣдба и Австрийскитѣ сабли не бѣхъ принудили дѣда Максима да остане да живѣе въ селото при сестра си.

Присѣтствието на слѣпото момче въ къщи, постѣнено и неуспѣшно даваше друго направление на дѣятелната мисль на оскатения борецъ. Той все така сѣдѣше по цѣли часове, като пушеше съ лулата си, но въ неговитѣ очи се забѣлѣваше сега, вмѣсто прѣдишната дълбока и тапа болка, замисленъ видъ на заинтересуванъ наблюдателъ. И колкото повече се взираше дѣдо Максимъ, толкова по се набръчквахъ гѣститѣ му въжди и все по-силно и по-силно пухтѣше съ чибучката си. Най-послѣ той се рѣши да се вмѣси въ работата:

— Това дѣте, — рече той, като испускаше калбо слѣдъ калбо димъ, — ще бѣде много по-нещастно отъ мене. По-добръ бѣше да не се родѣше.

Младата майка наведѣ главата си и една сълза капна на работата ѝ.

— Жестоко е да ми се напомнюва за това, Максиме! — Каза тя тихо, — да ми се напомнюва безъ цѣль!..

— Азъ говорѣ само истината, — отговори Максимъ. — Азъ нѣмамъ рѣцѣ и нозѣ, но имамъ очи. Малкия нѣма очи и съ врѣме нѣма да има нито рѣцѣ, нито нозѣ, нито воля... .

— Защо?

— Разбери ме, Анно, — каза ѝ Максимъ по-мекко. — Азъ не бихъ се наелъ да ти говорѣ напраздно жестоки думи. Момчето има нѣжна, нервна организация. Не е още късно, за да се развижтъ въ него останалитѣ способности до такъва степенъ, щото това да може, макаръ и отъ части, да възна-гради неговата слѣпота. Но за туй потрѣбни сѣ упражнения, а упражнението се прѣдизвиква само отъ необходимостта. Глупавата грижа, която отстранява отъ него всѣка необходимостъ на усилия, убива въ дѣтето всичкитѣ възможности за да се развие у него единъ по всестраненъ животъ.

Майката бѣше умна и поради това разбра, какво искаше да каже Максимъ, и съумѣ да побѣди въ себе си непосред-

ствения потникъ, който я караше да се притича като луда, при всеки жалостенъ викъ на дѣтето. Подиръ нѣколко мѣсеца отъ този разговоръ, дѣтето свободно и бързо лазѣше по стаята, като устрѣмляваше слуха си къмъ всеки звукъ, и съ една извънредна живостъ, която не се забѣлѣзва у другитѣ дѣца, пипаше всеки единъ прѣдметъ, който му попадаше въ рѣцѣтъ.

## V.

То скоро се научи да познава майка си по ходението, по шума на дрѣхитѣ ѝ, и по нѣкакви си още, достъпни само нему и неуловими за другитѣ признаци. Колкото хора и да имаше въ стаята, както и да се размѣствахъ тѣ, то винаги безпогрѣшно се опитваше къмъ оная страна, гдѣто сѣдѣше майка му. Когато тя неочаквано го взимаше въ рѣцѣтъ си, то изъ единъ пътъ узнаваше, че сѣди у майка си. Когато пъкъ го взимаше другъ нѣкой отъ домашнитѣ, то бърже почваше да пипа съ рѣчичкитѣ си лицето на оногова, който го взимаше и по такъвъ начинъ, бърже узнаваше: дойката си, дѣда Максима и баща си. Но когато го взимаше другъ човекъ, тогава движението на малкитѣ рѣцѣ ставаше по-бавно: момчето прѣдпазливо и внимателно бараше съ рѣцѣтъ си непознатото лице и неговия изгледъ ставаше по-внимателенъ; то като че ли се „загледваше“ съ краищата на прѣститѣ си.

По своя темпераментъ то би било твърдѣ живо и подвижно дѣте: но мѣсецитѣ изминавахъ, а слѣпотата налагаше своя печатъ все повече и повече върху темперамента на момчето, който туку що начеваше да се появява. Живостта въ движенията полегка се губѣше; то начеваше да се скрива въ уединенитѣ жгли и сѣдѣше тамъ по цѣли часове мирно, съ застинали черти на лицето си, като да се заслушваше къмъ нѣщо. Когато въ стаята биваше тихо и неговото внимание не се отвлечаше отъ промѣняването на разнитѣ звукове, дѣтето, се показваше, че мисли за нѣщо неразбрано — съ очуденъ видъ на красивото си лице — не както у другитѣ дѣца.

Дѣдо Максимъ улучи истината: тънката и богата нервна организация на момчето си взимаше своето и съ възприемчивостта на пипанието и слуха, тя като че ли се старееше да



допълни недостатъка на неговитѣ чувства. Всички се очудваха на неговата чудна тънкость въ пипанieto. По нѣкой пътъ, показваше се, че то усѣща цвѣтоветѣ: когато му попадаха въ рѣцѣтъ ясно боядисани парчета то по-дълго врѣме задържаше на тѣхъ тънцитѣ си прѣсти и неговото лице тогава изразяваше очудено внимание. Обаче подиръ врѣме все да става ясно все повече и повече, че у него се развива главно слуха.

Въ кѣсо врѣме то можеше вече да различава стаятъ по тѣхното ехо, различаваше вървежа на домашнитѣ, скърцанието на стола, когато сѣдаше уйча му — Максимъ, еднообразното шуршение на конeца въ майчинитѣ рѣцѣ, равномерното цаканье на стѣнния часовникъ. По нѣкога то внимателно се услушваше, лазейки покрай стѣната, къмъ легкото и неусѣтно за другитѣ шумоление на мухата и, съ подигната рѣка вървѣше подиръ нея, която бѣгаше по стѣната. Когато уплашеното на сѣкмо отлетваше отъ тамъ, по лицето на слѣпото момче се появяваше изражение отъ едно болѣзнено очудване. То не можеше да си обясни таинственото изчезване на мухата. Но отпослѣ и въ такива случаи неговото лице запазваше едно изражение, отъ което се виждаше, че то разбира; то си обръщаше главата къмъ онази страна, кѣдѣто отлетваше мухата; изострения слухъ улавяше въ въздуха тънкия шумъ на крилата ѝ.

Всичко, което блѣстѣше, което се движеше и звучеше около него, проникваше въ малката глава на слѣпия, главно, въ форма на звукове, и въ тѣзи форми се групирахъ неговитѣ прѣдставления. На неговото лице застиваше едно особено изражение и то такъво, съ каквото се характеризира напръгнатото внимание къмъ звуковетѣ: долната челюсть биваше малко растворена, вѣждитѣ се събираха, главата се наклоняваше и се поподигваше напръдъ на тънката и продълговата шия; при това красивитѣ, но неподвижни очи придаваха на лицето на слѣпия единъ сериозенъ и трогателенъ изгледъ.

## VI.

Втората зима за слѣпото момче бѣше на свършване. На двора снѣгътъ начеваше да се топи, пролѣтнитѣ потоци шу-

мѣхъ, и заедно съ туй се поправяше здравето на момчето, което прѣзъ зимата болѣдуваше и поради това не бѣше излизало на вѣнъ отъ стаята.

Извадихъ вторитѣ прозорци и пролѣтѣта нахлу въ стаята съ удвсена сила. Въ блѣстящитѣ отъ свѣтлината прозорци проникваше приятното пролѣтно слънце, клатѣхъ се още голитѣ букови клоне, надалечъ се чернѣехъ полетата, по които на нѣкои мѣста се простирахъ бѣли и снѣжни пѣтна; на други мѣста зеленѣеше се едвамъ поникналата крѣхка трѣвица. Всички дишахъ по свободно и по легко, и пролѣтѣта изпълваше всички съ нова и прѣсна жизнена сила.

За слѣпото момче тя се вмъкна въ стаята съ нейния само брѣзъ шумъ. То слушаше, какъ бѣгахъ пролѣтнитѣ потоци, като че ли искаше единия да надпрѣвари другия, подскачахъ по пята си отъ камъкъ на камъкъ и прониквахъ въ дълбочината на размекналата земя; клоноветѣ на букитѣ шумолѣхъ, като се удряхъ единъ съ други и чукахъ съ легкитѣ си удари по прозорцитѣ. А бързата пролѣтна капка отъ провисналитѣ по стрѣхата мразуци, които бѣхъ замръзнали отъ утрения студъ и сега растопени отъ слънцето, падаше на земята съ хиляди звѣнтящи удари. Тѣзи звукове влизахъ въ стаята подобно на свѣтли и звѣнтящи камъчета на сипящия се пѣськъ. Отъ врѣме на врѣме прѣзъ този шумъ чувахъ се кряканията на жеравитѣ отъ високо, тѣ постъпено утихвахъ, като да се топѣхъ и тѣ въ въздуха.

Тази природна живостъ караше слѣпото момче отново да се замислюва. То събираше вѣждитѣ си, протягаше си шията и слушаше, а послѣ, като че ли развълнувано отъ неразбраната суета на звуковетѣ, простираше рацѣтѣ къмъ майка си и силно притискаше главата си въ нейнитѣ гърди.

— Какво му е? — питаше майката себе си и другитѣ.

Дѣдо Максимъ наблюдаваше измѣнението на чертитѣ на момчето, безъ да може да си обясни неговото безпокойствие.

— То . . . не може да разбира, подсѣщаше се майката, като виждаше по лицето на сина си пазражението отъ неразбраностъ и въпросъ.

Дѣйствиелно, момчето бѣше развълнувано и неспокойно;

то ту съ живостъ улавяше нови непознати звукове, ту се очудваше на туй, че прѣдшнитѣ звукове, на които то бѣше вече понавикнало, изведнажъ утихвахъ и се губѣхъ нѣгдѣ-си.

## VII.

Хаосътъ на пролѣтната безредица бѣше утихналъ. Подъ порещитѣ лъчи на слънцето работата на природата влизаше все повече и повече въ пѣтя си, животътъ като че ли се напргане; неговото прогресивно движение ставаше по-бързо и по-бързо подобно на тренъ, който начева да се движи. Въ ливадитѣ младата трѣвица начеваше да се раззеленява, въздухътъ миришеше отъ брѣзовитѣ пѣпки.

Рѣшихъ да изнесахъ момчето на вѣнъ въ полето, при брѣга на ближната рѣка.

Майката го водѣше за рѣка, а дѣдо Максимъ вървѣше до тѣхъ съ патерицитѣ си. Тѣ вървѣхъ къмъ брѣга на рѣката, за да се искачатъ на единъ хълмъ, който бѣше вече изсушенъ отъ слънцето и вѣтъра. Той бѣше покритъ съ зелена морава и отъ тамъ се виждаше на оксѣ доста голѣмо пространство.

Свѣтлия день блѣсна прѣдъ очитѣ на майката и на дѣда Максима. Слънчевитѣ лъчи сгрѣвахъ тѣхнитѣ лица, пролѣтния вѣтъръ отмахваше тази горещина като съ маханието на невидими крила и я замѣняваше съ прѣсна хладнина. Въ пролѣтния въздухъ имаше нѣщо, което омайваше до наслаждение, до изнемошавание.

Майката чувствуваше, какъ нейната рѣка биваше стискана отъ рѣчичкитѣ на сина ѝ, обаче упойтелната пролѣтъ не ѝ даваше възможность да усѣти вълнението на сина си. Тя поемаше въздухъ съ цѣлитѣ си гърди и вървѣше напргѣдъ безъ да се обръща; ако да бѣше се обърнала, тя щѣше да забѣлѣжи необикновеното изражение на дѣтинското лице. То обръщаше отворенитѣ си очи къмъ слънцето съ глухо очудвание. Устата му бѣше отворена; то бързо поемаше въздухъ, като риба, извадена отъ водата. Изражението на болѣзнения восторгъ се появяваше отъ врѣме на врѣме на безпомощно отчаяното лице, прѣминаваше по него, като го освѣтяваше за малко

врѣме и въ сѣщото врѣме се замѣняваше пакъ съ удивителното изражение, което достигаше до уплашване и неясенъ въпросъ. Очитѣ само гледахъ постоянно съ сѣщия равномѣренъ и неподвиженъ погледъ.

Щомъ като дойдохъ до хълма, тѣ и тримата сѣднахъ. Когато майката поповдигна момчето, за да го настани по удобно, то пакъ конвулсивно се хвана за дрѣхата ѝ; показваше се, че то се бои да не би да падне, като че ли не чувствуваше подъ краката си земята. Но майката и този пжтъ не забѣлѣва бѣзпокойното движение, защото нейнитѣ очи и вниманието ѝ бѣхъ завладени отъ чудната пролѣтна картина.

Бѣше около пладнѣ. Слънцето тихо се движеше по синето небе. Отъ хълма, гдѣто тѣ сѣдѣхъ, се виждаше какъ течеше широката рѣка. Тя вече бѣше прѣкарала по голѣмата частъ отъ ледоветѣ си, и само по нѣкога плувахъ по нейната поврѣхность и се топѣхъ отъ слънцето послѣднитѣ остатъци. По наводнѣлитѣ ливади водата образуваше широки вирчета, въ които се отражавахъ бѣлитѣ облачета заедно съ прѣвѣрнатото лазурно небе; тѣ тихо плавахъ и изчезвахъ, като да се топѣхъ подобно на ледоветѣ. Отъ врѣме на врѣме се подигаше отъ вѣтъра малка вълна, която лжцѣше на слънцето. По нататѣкъ, задъ рѣката, зеленѣехъ се напоенитѣ полета и се испарявахъ като покривахъ съ издигающата се пара и далечнитѣ колиби, покрити съ слама и едвамъ забѣлѣваната въ далечината гора. Земята се показваше, като да диша и нѣщо се издигаше отъ нея къмъ небето, както кжлбата на жертвения тимиянъ.

Цѣлата природа приличаше на единъ свещенъ храмъ, приготвенъ за празникъ. Но за слѣпия всичко това бѣше само единъ непроницаемъ мракъ, който необикновено се вълнуваше, движеше се, бучеше и звѣнтѣше, като се докосваше до него. досѣгаше неговата душа отъ всички страни съ непознати неислѣдвани още впечатлѣния, отъ натрупванието на които сърдцето на момчето непрѣстано тупаше.

Още при първитѣ стѣпки, когато топлитѣ лъчи на деня ударихъ въ неговото лице и сгрѣхъ неговата нѣжна кожа, то инстинктивно обръщаше беззрачнитѣ си очи къмъ слънцето, като да чувствуваше, къмъ кой именно центръ се стремѣше

всичко. За него не съществуваше никаква далечина, никакъв лазуренъ сводъ, никакъвъ хоризонтъ. То чувствуваше само, какъ нѣщо материялно, нѣщо ласкателно и топло се доближава до неговото лице съ нѣжното си горещо допирание; подирѣ, нѣщо-си прохладно и леко, макаръ и по-малко леко отъ лачитѣ на слънцето, сваля отъ неговото лице тази нѣжностъ и на негово мѣсто остава една прѣсна хладнина. Въ стаята момчето бѣше навикнало да ходи свободно, като чувствуваше на около празнина; но тукъ го обхващахъ едни необикновени вълни, които постоянно се мѣнявахъ, ту нѣжно като го ласкаяхъ, ту като го гъдиличкахъ и го омайвахъ. Топлитѣ допирания на слънцето бърже бивахъ отстранявани отъ нѣкого си и една струя отъ вѣтръ, която свирѣше въ неговитѣ уши, обхващаше лицето му, главата до самия тилъ, въртѣше се около него, като да искаше да подхване момченцето, да го завлече нѣгдѣ въ пространството, което то не можеше да види и за което то имаше само едно неопрѣдѣлено прѣдставление. Тогава именно ржката на момчето стискахъ майчината ржа, а неговото сърдце прѣмираще, като че иска да прѣстане да тупа.

Когато го турихъ да сѣди, виждаше се, че то е донѣкъ спокойно. Сега, безъ да се гледа на туй, че неговото същество бѣ прѣпълнено отъ едно необикновено чувство, при все това, то почна да различава отдѣлнитѣ звукове. Тъмнитѣ еластични вълни течехъ, както по прѣди незадържано и струваше му се, че тѣ проникватъ въ неговото тѣло, понеже ударитѣ на развълнуваната му кръвъ се подигахъ и спадахъ наравно съ ударитѣ на тѣзи вълни. Но сега тѣ донасяхъ съ себе си яситѣ трелли на чучулигата, тихото шумоление на раззеленѣлия брѣстъ и едвамъ шумнитѣ плѣсъци на ржката. Ластовичката свиркаше съ легкитѣ си крилѣ, като описваше на близо чудни кръгове, мушичкитѣ бръмчехъ и надъ всичко туй чуваше се продължителното и печално викание на орача, който караше конетѣ надъ разораната бразда.

Момчето не можеше да схване тѣзи тонове въ едно, не можеше да ги сгрупира, да ги расположи въ перспектива. Тѣ, като че ли падахъ, прониквахъ въ неговата мрачна глава, едни подиръ други, ту тихи, неясни, ту силни, ясни, оглуши-

телни; отъ врѣме на врѣме тѣ се натрупвахъ наедно и образвахъ една неразбрана, неприятна дисхармония. Вѣтрѣтъ отъ полето свирѣше въ ушитѣ имъ и на момчето му се чинѣше че вълнитѣ по-бързо и по-бързо бѣгатъ и, че тѣхното обучение заглушава всички останали звукове, които дохождатъ сега отъ нѣкой другъ, далеченъ свѣтъ, подобно на въспоминание за вчерашния день. И заедно съ туй угасване на звуковетѣ, сърдцето на момчето се изпълваше отъ една деликатна умора. Лицето се подрѣпваше отъ приливитѣ, които ритмически минавахъ по него; очитѣ му се затваряхъ и отваряхъ, и по всичкитѣ му черти се забѣлѣзваше само единъ въпросъ, едно тѣжко напръгание на мисълта, на въображението. Не уякналото още съзнание, прѣпълнено съ нови прѣдставления, начеваше да изнемошава; то още се борѣше съ впечатлѣнията, които бѣхъ нахлули отъ всѣкъдѣ, като се мъчеше да имъ противостои, да ги слѣе въ едно цѣло и по този начинъ, да ги завладѣе, да ги побѣди — задача, която не можеше още да обгърне тъмния мозъкъ на момчето; за тази работа не му достигахъ зрителни впечатлѣния.

Звуковетѣ хвъркахъ и падахъ единъ подиръ други, все тѣй пѣстри, тѣй звѣнливи. . . Вълнитѣ, които обхващахъ момчето, се издигахъ все по напръгнато, като налитахъ отъ околния звѣнтящъ и шумящъ мракъ, губѣхъ се въ този сѣщия мракъ, като се замѣнявахъ съ нови вълни, съ нови звукове. . . по-бързо, по-високо, повдигаха го, люлѣяхъ го и го приспивахъ. . . . .  
Още единъ пътъ прѣмина надъ този угасающъ хаосъ дългата и скръбна нотана орача и подирѣ всичко утихна.

Момчето тихо запъшка и се катурна на трѣвата, майка му бърже се обърна къмъ него и извика; то лежеше на трѣвата блѣдно, въ дълбокъ припадѣкъ.

### VIII.

Дѣдо Максимъ бѣше много растрѣвоженъ отъ тази случка. Отъ нѣколко врѣме насамъ той взѣ да си набавя разни книги по физиологията, психологията и педагогията и съ обикновената си енергия се завзѣ съ изучаванието на всичко, което ни доставя науката относително тайнственото растение и развитие на дѣтинската душа.

Тази работа го увеличаше все повече и повече, и поради туй мрачните мисли за неспособността въ свѣтската борба, за „червея, който се влачи въ праха“ отдавна вече незабѣлваемо изхвъркнахъ отъ квадратната глава на ветерана. На тѣхно мѣсто въ тази глава се възцари едно замислено внимание, а по нѣкой път даже прѣкрасни мечти сгрѣбахъ старото сърдце. Дѣдо Максимъ се убѣждаваше все повече и повече, че природата, която отказа на момчето зрѣнието, не бѣше го лишила отъ другитѣ дарби; то бѣше едно същество, което се отзоваваше на достижнитѣ нему външни впечатлѣния съ голѣма пълнота и сила. И на дѣда Максима се чинѣше, че той е повиканъ да развие съществующитѣ въ момчето зачатъци и съ усилието на своята мисль и съ влиянието си, да уравни несправѣдливостта на природата, и да постави вмѣсто себе си въ редоветѣ на борцитѣ за право на животъ единъ новобранецъ, на когото безъ негово участие, никой не можеше отподирѣ да рассчитва.

„Кой знае“, — мислѣше си стария гарибалдиецъ, — „най-послѣ, може човѣкъ да се бори и безъ копие и безъ сабля; може би, несправѣдливо обидения отъ съдбата да подигне подиръ врѣме достижното нему оръжие за защита на други клетници, онеправдани въ живота, а тогава азъ, стария осакатенъ инвалидъ, не ще прѣживѣж на този свѣтъ безцѣлно!“

Даже и нѣкои свободни мислители отъ половината на туй столѣтие вървахъ въ „таинственитѣ прѣдопрѣдѣления“ на природата, слѣдователно тукъ нѣма никаква мадрость, че съ развитието на дѣтето, което показваше извънредни способности, дѣдо Максимъ се убѣждаваше напълно, че и самата слѣпота на дѣтето е едно отъ онѣзи „таинствени прѣдопрѣдѣления“. „Онеправдания за обиденитѣ!“ — ето девиза, който той постави по-отрано на знамето на своя възпитаникъ.

## IX.

Подиръ първата пролѣтна расходка, момчето бѣше трѣскаво нѣколко дена. То ту лежеше неподвижно и мълчаливо въ постелята си, ту бърборѣше и се заслушваше, и прѣзъ всичкото това врѣме стоеше на неговото лице характеристичното изражение на неразбиранieto.

— „Дѣйствително, то извежда тъй, като че иска да разбере нѣщо си, и не може“. Говорѣше майка му.

Максимъ се замислюваше и кимваше съ глава. Той разбра, че необикновеното вълнение на момчето и ненадѣйния му припадъкъ трѣбва да се обяснятъ чрѣзъ множеството на впечатлѣнията, съ които съзнанието не можеше да се спогоди, и той рѣши да пропуска до момченцето, което оздравяваше, тѣзи впечатлѣния постепенно, тъй да се каже разчленени на съставнитѣ имъ части. Прозорцитѣ отъ стаята, гдѣто лежеше болното момченце, бѣха добръ затворени. Подирѣ, наедно съ оздравяването, ги отваряха отъ врѣме на врѣме, расхождаха го по стаята, изнасяха го на балкона, на двора и въ градината. И всѣкой път, щомъ на лицето на слѣпото момченце се появяваше безпокойно изражение, майката му обясняваше звуковетѣ, които го плѣняваха.

„Овчарѣтъ свири съ кавалъ отъ татѣкъ гората“, — говорѣше му тя. — А това, което се чува между цвѣрчението на врабцитѣ, е пѣнието на синигерчето... Щъркѣтъ клепа на колелото си; \*) той дойдѣ тѣзи дни отъ далечни страни и си прави гнѣздо на старото си мѣсто.

И момчето си обръщаше къмъ нея лицето, което свѣтѣше отъ благодарностъ; хващаше ѝ ръката и клюмаше съ глава, като продължаваше да слуша съ внимание нейнитѣ думи.

## Х.

То начеваше да распитва за всичко, което привличаше неговото внимание: майка му или, което по често се случваше, дѣдо Максимъ му разказваха за разни прѣдмети и същества, които издаватъ опрѣдѣлени звукове. Майчинитѣ разкази, поживи и по-блѣстящи, произвеждаха на момчето по-големо впечатление, но по нѣкой път туй впечатление биваше твърдѣ болѣзнено. Младата жена, страдайки съ измѣчено лице, съ очи, които гледаха съ неутѣшима жалостъ и болка, се стараеше да даде на дѣтето си понятие за формитѣ и цѣтоветѣ на нѣщата. Момчето напругаше вниманието си, събираше въждитѣ

---

\*) Въ Малоруссия и Полша набиватъ високи пѣртове, на тѣхъ наденватъ стари колела, на които щърковетѣ виждатъ гнѣздата си.



си, на челото му даже се появявах един малки бръчки. Виждаше се, че дѣтската глава бѣше постоянно заета съ задача, която надминаваше силитѣ му; мрачното въображение се мъчеше да създаде отъ косвенитѣ данни едно ново прѣдставление — но неможеше.

Дѣдо Максимъ биваше въ такива случаи всекога недоволенъ и когато на майчинитѣ очи се появявах слъзи, а лицето на момченцето блѣднѣше отъ напрѣгнатото внимание, тогава той се намѣсваше въ разговора, отстраняваше сестра си и наченваше да расправа на момчето: въ расказитѣ си той прибѣгваше, до колкото бѣ възможно, само до пространствени и звукови прѣдставления. Тогава слѣпото момченце се поуспокояваше.

Ами какъвъ е той? голѣмъ ли е? — питаше то за щъркела, който клепѣше въ гнѣздото си.

При това момченцето си растваряше рѣцѣтѣ. То правѣше тѣй винаги при подобни въпроси, а дѣдо Максимъ му казваше, кога трѣбва да сипе рѣчичкитѣ си. Сега то бѣше си растворило малкитѣ рѣцѣ съвсѣмъ, но дѣдо Максимъ му каза: — Не; той е още по-голѣмъ. Ако го доведѣхме въ стаята и го оставимъ на потона, то неговата глава ще бѣде по-висока отъ стола.

— Голѣмъ... — замислено казваше момчето. — А синигерчето толкова! — и то едвамъ — едвамъ растваряше рѣчичкитѣ си.

— Да, синигерчето е толкова... За туй пъкъ голѣмнитѣ птици не пѣятъ тѣй хубаво, както малкитѣ. Синигерчето иска, щото неговото пѣние да бѣде приятно на всички, които го слушатъ; а щъркѣтъ — сериозна птица, стои на една нога въ гнѣздото си, озърта се на около, като нѣкой сърдитъ господарь, който надзирава работниците си, и силно клепе, безъ да се грижи, дали неговото клепение е приятно на другитѣ или не.

Момченцето весело се смѣеше, като слушаше тѣзи описания и забравяше поне за нѣколко минути тежкитѣ опитвания да разбере майка си. Но, при все това, то прѣдпочиташе да распитва майка си, отъ колкото дѣда Максима.

---

## ГЛАВА II.

### I.

Мрачните прѣдставления на момчето се увеличавахъ все повече и повече. Съ помощта на силно изострения си слухъ, то можеше да проникне все по-дълбоко и по-дълбоко въ окръжаващата го природа. Както и по-прѣди окръжаваше го дълбокъ и непроницаемъ мракъ, този мракъ покриваше неговия мозъкъ, като единъ тежъкъ облакъ, и макаръ, по видимоу, момчето би трѣбвало да се свикне съ своето нещастие, при все това, дѣтинската душа инстинктивно се стремѣше да се освободи отъ мрачната завѣса. Тѣзи безсѣзнателни стремления къмъ свѣтлината, които не оставяхъ дѣтето на мира нито за една минута, изливахъ на явѣ по неговото лице въ видъ на едно скърбно изражение.

Обаче, и за него имаше спокойни минути, минути отъ ясни дѣтински въсхищения, и това се случваше тогава, когато достъпнитъ за него външи впечатлѣния му докарвахъ нови прѣдставления, запознавахъ го съ нови явления отъ невидимия за него миръ.

Великата и могща природа не бѣше свършено затворена за слѣпото момче. Тѣй наприимѣръ, веднажъ, когато го заведохъ на високата скала, при брѣга на рѣката, то съ особено изражение се заслушваше въ тихитъ плѣскания на рѣката, която течеше дълбоко подъ неговитъ крака и съ свивание на сърдцето се хващаше за дрѣхитъ на майка си, като слушаше, какъ се търкаляхъ на долу малкитъ камъчета, които се откъртвахъ отъ скалата. Отъ тогава то си прѣдставляваше вече дълбочината като единъ тихъ шумъ на водата при подножието на скалата или като шумоление на пѣсчнитъ камъчета, когато падатъ.

Далечината звучеше въ неговитъ уши, като неясно утихващата пѣсень; когато нѣкъ пролѣтния грѣмъ прѣминаваше моментално по небето, като изпълваше пространството и съ сърдито бучение се губѣше задъ облацитъ, слѣпото момче се

услушваше въ този гърмехъ съ благоговѣнъ страхъ и сърдцето му се разширяваше: то си прѣдставляваше картината на поднебесното пространство.

По този начинъ звуковетѣ бѣхъ за него непосредствено изражение на външния свѣтъ; останалитѣ впечатлѣния служехъ само за допълнение на впечатлѣнията, получавани посредствомъ слуха, въ които (слухови впечатлѣния) се формирахъ изобщо неговитѣ прѣдставления.

Отъ врѣме на врѣме, когато прѣзъ горещитѣ дни всичко на около млъкваше, когато хорското движение утихваше и въ природата царуваше онази особена тишина, прѣзъ която се чува само непрѣкъснатия, тихъ вървежъ на животворната сила, по лицето на момченцето се явяваше едно особено изражение. Виждаше се, че подъ влиянието на външната тишина, се подигахъ отъ дълбочината на неговата душа едни особени, само нему достъпни звукове, въ които то се заслушваше съ напрегнато внимание. Ако го наблюдаваше човѣкъ въ подобни минути, можеше да помисли, че неясната мисль, която възникваше въ неговата душа, начева да звучи въ сърдцето му, като неясна мелодия отъ нѣкоя пѣсень.

## II.

Момчето караше вече петата си година. То бѣше високо и слабо, но ходѣше и даже тичаше свободно по цѣлата къща. Този, който би го наблюдавалъ, какъ то съ увѣреностъ ходи изъ стаитѣ, като се завръща на онази страна, на която то иска, и какъ свободно намира потребнитѣ нему нѣща, би помислилъ, ако той бѣше чуждъ човѣкъ, че прѣдъ него стои не слѣпо, а само едно твърдѣ внимателно дѣте съ замислени и гледающи въ неопрѣдѣлена далечина очи. По двора, обаче, то ходѣше съ по-голѣма мъжа, като почукваше прѣдъ себе си съ една тояжка. Ако нѣмаше тояжката въ ръката си, то слѣпото момченце прѣдпочиташе да лази по земята, като изслѣдваше бърже прѣдметитѣ, които то срѣщаше на пътя си.

## III.

Слѣдующето се случи прѣзъ една тиха лѣтна вечерь. Дѣдо Масимъ сѣдѣше въ градината. Бащата, както всѣкога, бѣше се

захласналъ нѣгдѣ въ полето. Въ двора и наоколо царуваше гробна тишина; селянитѣ спѣхъ; въ къщи тѣй сѣщо бѣше утихнало гълчението на работницитѣ и слугитѣ. Момчето прѣди половинъ часъ бѣше си легнало.

То задрѣмваше. Отъ нѣкое врѣме насамъ за него този часъ захвана да се свѣрзва съ едно необикновено въспоминание. То, разбира се, не виждаше, какъ потъмнѣваше синето небе, какъ се клатѣхъ чернитѣ върхове на дърветата, какъ потъвахъ въ мрачината овѣхтѣлитѣ стрѣхи около двора, какъ прѣзъ ноцната тъмнина се растилаше по земята златния блѣсъкъ на мѣсечината и на звѣздитѣ. Но ето, че отъ нѣколко дена насамъ то заспиваше подъ едно особено, магическо впечатление, за което на другия денъ не можеше да си даде смѣтка.

Когато дрѣмката все повече и повече покриваше неговото съзнание, когато шумолението на букитѣ утихваше и то прѣставаше вече да различава далечния лай на кучетата, пѣснитѣ на славея и меланхоличното дрѣкание на звѣнчетата на стадата коне, които пасѣхъ въ ливадата, — когато всички отдѣлни звукове се забърквахъ и се губѣхъ — тогава, струваше му се, че тѣ всички, като се сливахъ въ едно хармоническо цѣло, тихо влизатъ прѣзъ прозореца и дълго врѣме се въртятъ надъ неговата постелка, като му навѣватъ неопрѣдѣлени, но доста приятни сѣнища. На заранѣта то се събуждаше и питаше майка си:

— Що бѣше това... вчера? Какво е туй нѣщо?..

Майката не знаеше, каква е работата и мислѣше, че го вълнуватъ сѣнищата. Тя сама го прѣспиваше, и послѣ си отиваше безъ да забѣлѣжи нѣщо особено. Но на другата заранъ момчето ѝ говорѣше пакъ за нѣкакво си чудно, неопрѣдѣлено нѣщо, което го вълнувало вечерѣта.

— О, мамо, то е тѣй хубаво, тѣй хубаво! но какво е туй нѣщо?

Тази вечеръ тя намисли да остане при постелята на момчето повечко врѣме, за да си обясни чудната гатанка.

Тя сѣдѣше на столъ близо до неговото креватче, като плетѣше и се услухваше въ равномерното дишание на своя Петърчо. Той изглеждаше да е вече съвсѣмъ заспалъ, когато изведнажъ въ тъмнината се чу тихия му гласъ:

— Мамо, ти тукъ ли си?

— Да, да, чедо. . .

— Иди си, моля ти се; *то* се бои отъ тебе и до сега *то* нѣма. Азъ бѣхъ вече задрѣмалъ, а него го нѣма още. . .

Очудената майка съ едно странно чувство слушаше това полусънливо, жалостно шепнение. . . Момчето говорѣше за своитѣ сънища съ такъва увѣреностъ, като да бѣхъ тѣ нѣщо реално. При все това майката стана, наведѣ се къмъ момчето да го целуне и тихо излѣзна отъ стаята, като намисли да отиде, безъ да я забѣлѣжи то, при отворения прозорецъ отъ къмъ градината.

Не успѣ тя да влѣзе въ градината и гатанката биде разрѣшена. Изведнажъ тя чу тихитѣ тонове на една свирка, които идѣхъ отъ конюшнищата, като се смѣсвахъ съ шумътъ на южния вечеръ. Тя отъ единъ пътъ разбра, че тѣзи именно неискусни тонове на простата мелодия, които съвпадатъ съ фантастическия часъ на дрѣмката, сж настройвали тѣй приятно въспоминанията на момчето.

Тя самичка се спрѣ, постоя една минута, като се заслушваше въ сърдечния напѣвъ на малоруссийската пѣсенъ, и, съвсѣмъ успокоена отидѣ прѣзъ тъмната аллея на градината при дѣда Максима. . .

„Яйкимъ свири много добръ“ помисли си тя. „Чудно, колко деликатно чувство може да се намира въ тоя грубъ на изгледъ слуга!“

#### IV.

Яйкимъ дѣйствително свирѣше добръ. Лесно му бѣше тѣй сжщо да свири и на мѣчната цигулка, и едно врѣме, когато въ недѣлни дни стоехъ въ кръчмата, никой не можеше да изсвири по-добръ отъ него „козака“ (русския народенъ танцъ) или веселия полски „Краковякъ“. Когато той сѣдваше на столчето въ жгѣла, пригискваше сило цигулката съ обрѣснатия си подбордникъ, нахлюпваше на една страна високия си калпакъ и дръпваше съ кривия лѣкъ по изопнатитѣ струни, тогава никой не можеше да се удържи на мѣстото си. Даже стария едноокъ еврейниъ, който придружаваше Яйкима съ своя контра-

басъ, се въодушевляваше до послѣдна степенъ. Неговия грубъ „инструментъ“ се напъгваше отъ усилие, да достигне съ тежкитѣ си басови ноти легкитѣ, пѣвчи и игриви тонове на Яйкимовата цигулка, а пѣкъ стария Янкелъ, като подигнѣше раменѣ, въртѣше сивата си въ шапчица глава и цѣлъ подскачаше по такта на веселата и бойка мелодия. Що остава пѣкъ да се говори за кръстения народъ, у когото новѣтѣ сж тѣй устроени още отъ памтивѣка, че при първия тонъ на нѣкоя весела хороходна пѣсенъ, тѣ сами почватъ да се свиватъ и да потропватъ?

Но отъ когато Яйкимъ се влюби въ Мария, слугинята на съсѣдния панъ\*), той като че не обичаше вече веселата цигулка. Дѣйствително и тя не му спомогна да побѣди сърдцето на непрѣклонната мома, и тя прѣдпочетѣ нѣмската бръсната физиономия на господаревия лакей, прѣдъ мустакатия „суратъ“ на казака музикантинъ. Отъ тогава неговата цигулка не се чуваше вече нито въ кръчмата, нито по сѣденкитѣ. Той я окачи на единъ гвоздеи въ яхъра и не обръщаше внимание на туй, че струнитѣ ѝ една подиръ друга се ксаха отъ влагата. А тѣ се ксаяха съ такъвъ единъ силенъ и жалостенъ прѣдсмъртенъ тонъ, щото даже конетѣ цвилѣха състрадателно и очудено си обръщаха главитѣ къмъ тѣхния разсърденъ стопанинъ.

Сега намѣсто цигулката Яйкимъ си купи отъ единъ карпатски селянинъ една дървена свирка. Той, както се вижда, намираше, че нейнитѣ тихи звукове повече хармониратъ съ печалната му сждба и по-добрѣ ще извадятъ на явѣ скръбта на неговото прѣзарѣно сърдце; обаче, горската свирка излѣга неговитѣ надежди.

Той прѣгледа до десетина свирки, и избра една, като я испитваше по разни начини: изрѣзваше я, мокрѣше я съ вода сушене я на слънце, закачаше я за тънка връвчица подъ стрѣхата, за да я духа вѣгъртъ, но нищо не помагаше; свирката не угодяваше на малоруссийското сърдце. Тя свиркаше тамъ, гдѣто трѣбваше да пѣе; пицѣше тогава, когато той очакваше отъ нея жално трептение, съ една речъ тя не

---

\*) Панъ по полски значи господинъ. Пр.

се подчиняваше на неговото настроение. Най-послѣ той се разсърди на карпатскитѣ селяни, че не сж способни да направихтъ една свѣстна свирка, поради това той се рѣши да направи съ собственитѣ си рѣцѣ една такъва свирка. Нѣколко дена той се лута по гората и по потоцитѣ съ набрани вѣжди, доближаваше се до всѣки върболякъ, разгледваше клончетата му, отрѣзваше нѣкои отъ тѣхъ, но, както се виждаше, той не можеше да намѣри онуй, което му бѣ нужно. Вѣждитѣ му бѣхж, както по-прѣди, събрани и той вървѣше отъ мѣсто на мѣсто, като продължаваше да търси. Най послѣ той дойдѣ до едно мѣсто на брѣга на една рѣка, която течеше тихо. Водата едвамъ — едвамъ клатѣше овисналитѣ клоне, вѣтърътъ не можеше да си пробие тукъ пътъ прѣзъ гъститѣ върби, които тихо се навеждахж надъ тъмната и спокойна дълбочина. Яйкимъ, като раствори клонетѣ на хрсталака, доближи се до рѣкичката, постоя нѣколко минути и изведнажъ се увѣри, че тукъ именно той ще намѣри онуй, което търси. Брѣчкитѣ отъ челото му изчезнахж. Той извади отъ чизмата си вързаното съ ремикъ ножче и, като разгледа внимателно гранкитѣ на върбата, които шумѣхж по между си, приближи се до единъ тънъкъ правъ клонъ, който се клатѣше надъ водата. Той го почука за нѣщо-си съ прѣстъ, поизгледа го, какъ той еластично се заклати въ въздуха, услуша се въ шепота на листата му и клюмна съ глава.

— Ото-жѣ воно самесенъкее\*), — промърмори Яйкимъ съ удоволствие и хвърли въ рѣкичката всички по-отрано отрѣзани прѣчки.

Свирката излѣзѣ, както трѣбаше. Слѣдъ като засуши дървото, той изгори сърдцевината му съ нажежена игла, продупчи шестъ кръгли дупки, направи отъ страна седмата и добрѣ затисна единия край съ дървена затикалка, като остави въ нея една само тѣсна полегата дупчица. Подирѣ една цѣла недѣля тя висѣше на едно тънко каналче за да я грѣе слънцето и да я духа вѣтъра. Слѣдъ това той я изстърга съ единъ ножъ, изглади я съ стъкло и я истри съ едно вълнено парцалче. Къмъ върха свирката бѣ валчеста, а отъ срѣдата на долу

---

\*) Това е то.

вървѣхъ равни, като че полировани стѣни, по които той надълба разни искусни фигури съ нажежени и искривени парчета желѣзо. Сега той, като я поиспита съ нѣколко бързи прѣливи отъ гаммата, кивна съ глава, извика и бърже я скри въ едно тайно мѣсто подъ леглото си. Той не желаше да я испитва посреда дневната суета. Но за туй пъкъ още въ сѣщата вечеръ се зачухъ отъ яхъра нѣжни, тѣжни, приятни и треперящи трелли. Яйкимъ бѣше доволенъ отъ свирката си. Сѣкашъ, че тя бѣше частъ отъ самия него. Тоноветъ, които тя издаваше, се струваше, че изливатъ отъ неговитѣ собствени гърди, и всѣко негово чувство, всѣкой отгънѣкъ на неговата скърбъ изведнажъ затреперваше въ чудесната свирка, тихо излизаше изъ нея и звучно се носеше подиръ другитѣ, посреда тихата нощъ.

## V.

Сега Яйкимъ бѣше влюбенъ въ свирката си. Прѣвъ деня той аккуратно вършеше работата си, като яхърджия, поеше конетѣ, впрягаше ги, возѣше господжата си или дѣда Максима. Само по нѣкога, когато си помислѣше за жестоката Мария, една тѣга наченваше да гризе неговото сърдце. Но съ настѣпването на вечерята той забравяше дори и цѣлия свѣтъ и даже образа на черноокото момиче се покриваше като съ мъгла. Този образъ губѣше своето ясно изображение, рисувахе се прѣдъ него на тъменъ фонъ и то до толкова, колкото да придаде на чуднитѣ напѣви на неговата свирка единъ замисловато-тѣженъ характеръ.

Въ единъ такъвъ музикаленъ екстазъ, цѣлъ прѣдаденъ на трептящитѣ мелодии, Яйкимъ лежеше и тази вечеръ въ яхъра. Музикантинътъ успѣ да забрави не само жестоката хубавица, но дори бѣше изгубилъ отъ прѣдъ видъ и собственото си съществуване, когато изведнажъ той се стрѣсна и скочи отъ постелята си. Въ най-патетическото мѣсто на мелодията той почувствува, какъ една малка ржка бързо прѣминава по неговото лице, слиза по неговитѣ рацѣ и слѣдъ туй почва полета да пиша свирката. Заедно съ това той чу около себе си нѣкога да диша бързо и развълнувано.



— Цуръ тобі, некъ тобі, проианесе той обикновеното си закльвание и въ сщото врѣме попита:—чортове, чи Боже!\*) като искаше да узнае, дали нѣма работа съ нѣкоя нечиста сила.

Но лхчтъ отъ мѣсечината, който се промъкна въ яхъра прѣзъ отворенитѣ врата му показа, че той се излъга. Близо до неговия креватъ стоеше слѣпото момче и простираше къмъ него ржичкитѣ си.

Слѣдъ единъ часъ майката, желайки да види заспалия Петърча, не го намѣри въ постелята. Тя отначало се уплаши, но майчиното чувство скоро ѝ показа, гдѣ трѣбваше да търси изгубеното си момченце. Яйкимъ доста се засрами, когато неочеквано видѣ на вратата отъ яхъра „любезната си госпожа“. Тя стоеше отъ нѣколко минути насамъ на това мѣсто, като слушаше свирната му и гледаше момченцето си, което завито въ една горня дрѣха, сѣдѣше въ кревата на Яйкима и жадно се услушваше въ прекъснатата мелодия.

## VI.

Отъ тогава всѣка вечеръ момчето дохаждаше въ яхъра при Яйкима. Нему не му идваше и на умъ да моли Яйкима за да извири що-годѣ денемъ. Виждаше се, че дневната суета и движението изключаваж отъ неговитѣ прѣдставления възможността, за да чуе тѣзи тихи мелодии. Но щомъ като се мръкваше, едно трескаво нетърпѣние обхващаше Петърча. Вечерния чай и ужината му напомнювахъ, че желаемата минута е близка, и майката, на която не ѝ се харесвахъ тѣзи музикални сеанси, не можеше да запрети на обичния си синъ да отива при Яйкима и да прѣстоява по два, три часа при него прѣди лягане. Туй врѣме стана за момчето сега едно отъ най-приятнитѣ часове прѣзъ дена и майката съ гореща ревност виждаше, че вечернитѣ впечатлѣния оставатъ въ дѣтето и до другия день, тѣй, че даже на милванята ѝ се отзоваваше хладно и сѣдейки въ майчинитѣ ржцѣ, то я прѣгръщаше и съ замисленъ видъ припомнюваше си вчерашната пѣсенъ на Яйкима.

---

\*) Богъ или дяволъ си?

Тогава тя спомни, че прѣди нѣколко години, като се обучаваше въ Киевския пансионъ на госпожа Радецки, тя между другитѣ „приятни искусства“ изучаваше и музиката.

Дѣйствително, че туй въспоминание не ѝ бѣше отъ особено приятнитѣ, защото то се свързваше съ прѣдставлението за учителката Клапсъ, една стара нѣмска мома, доста шипкава, твърдѣ прозаячна и главно доста сърдита личностъ. Тази извѣнѣ мѣрата холерична мома, която „извиваше“ твърдѣ искусно прѣститѣ на свойтѣ ученички, за да имъ придаде нужната пѣргавостъ, убиваше съ това майсторски въ своитѣ ученички всѣкакви признаци на едно музикално поетическо чувство. Едно такъво заплашително чувство не можеше да прѣтърпи даже присѣствието на госпожица Клапсъ, безъ да се говори за нейнитѣ педагогически методи. Поради това, отъ като Анна Михайлова излѣзѣ отъ пансиона и се омъжи, тя не бѣше помислювала да поднови музикалнитѣ си упражнения. Но сега, слушайки простия свирачъ, тя чувствуваше, че заедно съ ревността къмъ него въ нейната душа се пробужда постепенно усѣщанието на живата мелодия и физиономията на нѣмската мома (Клапсъ) угасва. Резултатътъ отъ този процесъ бѣше просбата на госпожа Попелска до нейния мъжъ, да ѝ поръча отъ града едно пианино.

— Добрѣ, както искашъ, гълъбче, — отговори ѝ приятниятъ съпругъ. Ти, струва ми се, не обичаше по прѣди музиката. . .

Въ сѣщия този день проводихъ едно писмо въ града, но до като инструмента бѣде купенъ и докаранъ въ село, трѣбваше да прѣминатъ не по-малко отъ двѣ три недѣли.

А между това отъ яхъра всѣка вечеръ се чувахъ мелодитѣ, и момчето тичаше при Яйкима безъ да пита майка си. Специфическия джъхъ на обора се смѣсваше съ аромата на сѣното и съ острата миризма на плѣсенясалитѣ ремѣци. Конетѣ тихо жвакахъ, шумейки съ сѣното, което го дръпахъ отъ яслитѣ, и когато свирачътъ се спираше да си поотдохне, въ яхъра ясно се чуваше шепотътъ на зеленитѣ буки отъ градината. Петърчо сѣдѣше обаянъ и слушаше.

То непрѣкъсваше музиканта никога, и само когато този послѣдния се спираше нѣколко минути да се отпочине, нѣмото

обаяние се замѣняваше въ момчето съ едно страстно желание. То посѣгаше за свирката, взимаше я съ треперящи ръцѣ и я доближаваше до устнитѣ си. Но понеже при туй диханието на момчето се нарушаваше, то първитѣ тонове излизахъ отъ инструмента нѣкакъ-си треперящи и тихи. Но отпослѣ то въѣ малко по-малко да владѣе простия инструментъ. Яйкимъ нареждаше прѣститѣ му по отвърснѣта, и макаръ малката му ръчичка да не можеше да обхване тѣзи отвърстия, то въ кѣсо врѣме изучи тоноветѣ на гаммата. При туй, като че ли, всѣка нота имаше за него особена физиономия, свой индивидуаленъ характеръ; то знаеше вече, въ кое отвърстие се „намира“ всѣки единъ отъ тѣзи тонове, отъ кое ствѣрстие можеше да се искара, а когато Яйкимъ взимаше тихо да свири нѣкаква-си проста мелодия, прѣститѣ на момчето захващахъ да се движатъ. То съ голѣма яснотъ си прѣдставляваше послѣдователнитѣ тонове, разположени по тѣхнитѣ надлежни мѣста.

## VII.

Най-послѣ, тѣкмо подиръ три недѣли, докарахъ пианиното отъ града. Петърчо застана въ двора и внимателно слушаше, какъ работницитѣ се готвѣхъ да внесатъ въ стаята докараната „музика“. Тя бѣше, както се виждаше, доста тежка, защото, когато възхъ да я подигатъ, колата скърцахъ, а работницитѣ пѣнкахъ и сбяхъ (дълбоко дишехъ). Ето че тѣ възхъ да върватъ съ равни, тежки стѣпки и при всѣка крачка нѣщо чудно бръмчеше надъ главитѣ имъ, шумѣше и позвѣнваше. Когато необикновената музика я турихъ на потона въ приемната стая, тя отново прозвуча съ дебѣлъ тонъ, като да искаше съ това да заплаши нѣкого въ гнѣва си.

Всичко туй докарваше на момчето едно чувство близко до уплашване и не го располагаше въ полза на новия неодушевенъ и сѣрдитъ гостъ. То отидѣ въ градината и не искаше да слуша, какъ настанявахъ инструмента, какъ пристигналиятъ отъ града майсторъ го настройваше и испытваше клавишитѣ му. Когато всичко бѣше сѣзършено, майката каза да повикатъ Петърча въ стаята.

Сега Анна Михайлова, снабдена съ тоя вѣнски инструментъ, изработенъ отъ добъръ майсторъ, още прѣди свирението

си тържествуваше за побѣдата надъ простата селска свирка. Анна Михаалова бѣше увѣрена, че нейния Петърчо ще забрави сега яхъра и свирача и всичкитѣ си радости ще ги получава отъ нея. Тя гледаше съ усмихнати очи на прѣдпазливо влѣзналото момче заедно съ Максима и на Яйкима, който поиска позволение да послуша чуждестранната музика и сега стоеше при вратата, упорито като бѣше вперилъ очитѣ си. Когато дѣдо Максимъ и Петърчо сѣднахъ на одъра, тя изведнажъ удари по клавишнитѣ на пианиното.

Тя свирѣше пиесата, която бѣше изучила доста добръ въ пансиона на госпожа Радецки и подъ ръководството на госпожица Клапсъ. То бѣше нѣщо неособено шумно, но доста искусно, което изискваше доста голѣма пѣргавина на прѣститѣ; въ единъ публиченъ концертъ Анна Михайлова придоби голѣма похвала, както за себе си, тъй и за учителката.

Никой не можеше да потвърди дали това бѣше истина, но мнозина се подсѣпахъ, че мълчаливия господинъ Попелский билъ плѣнетъ отъ госпожица Яценко именно въ тази кратка четвъртъ отъ часа, когато тя свирѣла мъчната пиеса. Сега младата жена свирѣше тази същата пиеса съ намѣрение за една друга побѣда: тя искаше да привлече младото сърдце на сина си, увлечено отъ една просташка свирка.

Обаче, тозъ пътъ нейнитѣ надежди не се сбоднахъ: вѣнския инструментъ нѣмаше сила да се бори съ едно парче отъ украинска върба. Дѣйствително, вѣнския инструментъ имаше могъщи срѣдства: скъпото дърво, прѣввѣсходнитѣ струни, отличната работа на вѣнския майсторъ, богатството на единъ обширенъ регистръ. Но за туй пъкъ и малоруссийската свирка притежаваше съюзници, тъй като тя бѣше дома, посреде родствената украинска природа.

Прѣди Яйкимъ да я отреже и да ѝ изгори сърдцевината съ нажежено желѣзо, тя се клатѣше тукъ, надъ познатата на момчето рѣкничка, ласкаеше я украинското слънце, което сгрѣваше и него, духаше я този същия украински вѣтъръ, до като проникателното око на марусския свирачъ не я съгледа надъ залѣтия брѣгъ. Сега мъчно бѣше на чуждестрания гостинъ да се бори съ простата мѣстна свирка, защото тя се появи отъ начало на слѣпото момче въ тихия часъ на дрѣм-

ката, посреѣ тайнственото вечерно шумоление, посреѣ шума на заспивающитѣ буки.

Пакъ и госпожа Попелска въ музикално отношение бѣше много назаѣ отъ Яйкима. Дѣйствително, нейнитѣ тънки прѣсти бѣха и по-бѣрзи и по-пѣргави; мелодията, която тя свирѣше, по-сложна и по-богата, и много трудове изхабила госпожица Клапсѣ, до като научи ученичката си да владѣ трудния инструментъ. За туй цѣкъ Яйкимъ бѣше надаренъ отъ природата съ извънредно музикално чувство; той любѣше и скрѣбѣше, и съ любовта си и съ тѣгата си той се обрѣщаше къмъ природата. Негова учителка бѣше природата, шумътъ на лѣсоветѣ, тихото шумоление на степната трѣва, замислената стара народна пѣсень, която той е слушалъ още надъ „люлката“ си.

Да трудно бѣше за вѣнския инструментъ да надвие просташката свирка. Не се мина нито една минута, когато дѣдо Максимъ затропа по джкитѣ съ своитѣ патерици. Когато Анна Михайлова се обърна да види, тя съгледа на поблѣднѣлото лице на Петърча, онуй сѣщото изражение, съ което то лежеше на трѣвата въ паметния день на първата тѣхна расходка.

Яйкимъ наскърбено погледна момчето, послѣ хвърли единъ прѣнебрѣжителенъ погледъ на нѣмската музика и си излѣзѣ, като тропаше съ чизмитѣ си обковани отдолѣ съ гвоздеи.

### VIII.

Много сълзи пролѣ бѣдната майка за тази несполука — сълзи и срамъ. Тя, „любезната госпожа“ Попелска, която бѣше слушала шумни ржкоплескания на „избрана публика“, трѣбваше да се признае за побѣдена — и то отъ кого? Отъ простия яхърджия Яйкима и отъ неговата проста и глупава свирка! Когато тя си припомнюваше прѣнебрѣжителния погледъ на селянина подиръ нейния несполучливъ концертъ, една червенина отъ гнѣвъ излизаше на нейното лице, и тя отъ все сърдце ненавиждаше отвратителния селянинъ.

При все това, обаче, всѣка вечеръ, когато нейното момче отиваше въ яхѣра, тя отваряше прозореца, облегаше се на него и се услушваше въ тоноветѣ. Испърво тя слушаше съ прѣнебрѣжение и трѣсѣше да схване само смѣшнитѣ страни въ

това „глулаво чуруликание“; но малко-по-малко и тя сама не можеше да си прѣдстави, какъ можа да се случи, щото това „глулаво чуруликание“ да привлече нейното внимание и тя съ голѣма жадност улавяше тѣхнитѣ мелодии. Като се свѣсти, тя се попита, въ що се състои именно тѣхната привлекателност, тѣхната магическа тайна и малко-по-малко тѣзи сини нощи, неопрѣдѣленитѣ вечерни сѣнки и удивителната хармония на пѣсньта съ природата ѝ разгадахъ този въпросъ.

„Да“, — мислѣше си тя, побѣдена и завоевана отъ своя страна, — тукъ има нѣщо особено, истинско чувство . . . поезия, която омаява и която не можешъ я изучи по ноти.

И тя имаше право. Тайната на тази поезия се намиралъ въ чудната свѣрка между отдавна умрѣлото минало и вѣчно живущата, вѣчно говорящата на човѣшкото сърдце природа, свидѣтелка на това минало. А той, грубия, простия селянинъ, съ окалянитѣ „обуща“ съ напуканитѣ си рацѣ, носѣше въ душата си хармонията, това живо чувство на природата.

Тя съзнаваше, че горделивата госпожа се смирява прѣдъ този простъ яхърджия. Тя забравяше неговата груба дрѣха, катранената миризма на дрѣхитѣ му и прѣзъ тихитѣ прѣливи на пѣсньта, появяваше ѝ се едно добродушно лице съ меко изражение на сивитѣ очи и съ една тѣпа юмористическа усмивка изъ подъ дългитѣ мустаци. Отъ врѣме на врѣме само една гнѣвна червенина се появяваше на нейното лице: тя чувствуваше, че въ борбата поради вниманието на нейното дѣте, тя застана на една арена съ „простака“, на еднаква стѣпенъ и той, простия селенинъ, надви.

Дървесата въ градината шептѣхъ тихо надъ нейната глава, нощта начеваше да свѣти съ многочисменитѣ си огнове по синето небе и синъ мракъ се разливаше по земята, а заедно съ това въ душата на младата жена нахлуваше гореща тъга отъ Яйкимовитѣ пѣсни. Тя все повече и повече се смиряваше и се учеше да схваща не хитрата тайна на непосредствената и чиста, безискуствена поезия.

## IX.

Да, въ простака Яйкима обитава истинско, живо чувство! А у нея? Неужели у нея не се намира нито капка отъ туй

чувство? Отъ какво ѝ е тъй тъжно въ гърдитѣ и защо тъй безпокойно тупа нейното сърдце, а слъзитѣ неволно се набиратъ въ очитѣ ѝ? Нима туй не е чувство, нима не е пламено чувство отъ любовъ къмъ нейното нещастно, слѣпо дѣте, което отбѣгва отъ нея и отива при Яйкима и на което тя не умѣе да достави сящо такъво наслаждение?

Тя си припомниваше изражението на болката, която тя прѣдизвика на лицето на момчето съ свирението си; горещи слъзи напълваха нейнитѣ очи и тя съ мъка се задържаше да не заплаче.

Нешастната майка! Слѣпотата на нейното дѣте бѣше за нея единъ вѣченъ, неизцѣримъ недѣлъ. Той изливаше на явѣ и въ прѣувеличената нѣжностъ, и въ това чувство, което изцѣло я обзимаше, което я свързваше съ многобройни невидими струни на болното ѝ сърдце при всѣко проявяване на дѣтинското страдание. Поради това туй, което у другиго щѣше да породѣ само дожъчяване, туй необикновено съперничество съ простия свирачъ — стана за нея като изворъ на най-силни, горещи страдания.

Тѣй си минаваше врѣмето безъ да ѝ докара улегчение, но за туй пъкъ и не безъ полза: тя усѣщаше въ себе си приливи отъ онуй живо мелодично и поетическо чувство, което тѣй много я очудваше въ свирнята на селянина. Тогава въ нея блѣсна надежда. Подъ влиянието на внезапни приливи отъ самоувѣреностъ, тя много пѣти отиваше при своя инструментъ и го отваряше, за да заглуши съ певческитѣ аккорди на клавира тихата свирка. Но всѣкой пѣтъ тя се спираше отъ нерѣшителностъ и срамъ. Тя си спомняваше изгледа на нейното дѣте и прѣнебрѣжителния погледъ на селянина; бузитѣ ѝ почервенияваха отъ срамъ, а ржката прѣминаваше въ въздуха надъ клавишитѣ.

Обаче, отъ день на день въ нея все растѣше едно обикновено вътрешно съзнание за нейната сила и надвечеръ, когато момчето прѣди вечеря играеше въ градината или се расхождаше, тя сѣдаше да свири. Отъ първитѣ опити тя остана не до тамъ доволна: ржцѣтѣ не се повинуваха на вътрешното ѝ чувство. тоновеѣ на инструментъ се показваха не еднакви съ настроението, което царуваше въ нея. Но постепенно туй

настроение начеваше да прониква въ тѣхъ съ по-голѣма пълнота и лекостъ; уроцитѣ на простия селенинѣ не отидаха напразно, а майчината любовъ и разбиранieto на това, което тѣй силно завладѣваше дѣтинското сърдце, дадохъ ѝ възможностъ да усвои доста бързо тѣзи уроци. Сега излизаше отъ подъ нейнитѣ ржцѣ не нѣкаква-си салонна, искусна пиеса, но тиха пѣсенъ, тѣжна украинска „думка“ звѣнтѣше и плачеше въ тъмнитѣ стани и умекчаваше майчиното сърдце.

Най-послѣ тя се осмѣли да излѣзе на открита борба и ето, че се начена една необикновена, явна прѣспирня между господарската кѣща и Яйкимовата конюшница. Отъ затъмнитѣли оборѣ съ нависнала сламена стрѣха тихо излизаха легкитѣ трелли на свирката, а насрѣщу тѣхъ отъ отворенитѣ прозорци на кѣщата, която блѣстѣше прѣзъ листята на букитѣ отъ лунната свѣтлина, излизаха пойнитѣ, пълни аккорди на пианино.

Отъ начало нито момчето, нито Яйкимъ обръщаха внимание на „искусната“ музика, къмъ която тѣ и двамата се отнасяха съ извѣстно прѣдубѣждение. Момчето се навѣсваше и нетърпѣливо побутваше Яйкима, когато той се спираше: „Ей! свири де, свири!“

Но не се минаха и три дена, когато тѣзи спирания станали по-чести и по-чести; Яйкимъ оставяше за малко свирката си на страна и се услужваше съ голѣмъ интересъ, който малко по-малко растѣше, а прѣзъ тия паузи и момчето се услужваше въ свирната на майка си и забравяше да побутне своя приятелъ. Най-послѣ Яйкимъ продума съ замисленъ погледъ:

— Ото-жъ якъ гарно... Бачъ, якъ воно штука\*). . .

Подирѣ, съ сѣщо такъвъ замисленъ видъ на внимателенъ слушатель, той взѣ момчето въ ржцѣтѣ си и трѣгна съ него прѣзъ градината къмъ отворения прозорецъ на стаята. Той мислѣше, че „любезната госпожа“ свири за свое удоволствие и не обръща внимание на тѣхъ. Но Анна Михайлова слушаше, какъ замлъкна нейната съперница — свирката, тя забѣлѣза своята побѣда и сърдцето ѝ затупа отъ радостъ.

Заедно съ туй, гнѣва ѝ противъ Яйкима утихна съвсѣмъ. Тя бѣше щастлива и съзнаваше, че е обязана нему за това

\*) О, това е лубаво! Това е фйна работа. Нр.



пастие: той я научи, какъ отново да привърже къмъ себе си момчето, и ако сега нейното момченце придобие отъ нея нови впечатления, то за туй и двамата тѣ трѣбва да благодарятъ нему на простия свирачъ, на тѣхния общъ учителъ.

## Х.

Ледътъ бѣше счупенъ. Момчето на другия денъ влѣзна съ голѣмо любопитство въ приемната стая, въ която не бѣше стѣпало, отъ когато въ нея се засѣли чудния градски гостенинъ, който му се показва така сѣрдитъ. Вчерашнитѣ пѣсни завладѣхъ слуха на момчето и измѣнихъ неговото отношение спрямо инструмента. Съ послѣднитѣ слѣди отъ прѣдишния страхъ то се приближи до мѣстото гдѣто стоеше пианото, спрѣ се на извѣстно разстояние и се услуша. Въ стаята нѣмаше никого. Майката сѣдѣше въ другата стая съ работата си и, като поспрѣ диханието си, наблюдаваше го, като се радваше на всѣко негово движение, на всѣко промѣнение изражението на лицето му. Съ протегнатата ръка то се доближи до полированата повърхностъ на инструмента и се повърна изведнажъ. Като повтори два три пати тѣзи опитвания, то се доближи и взѣ внимателно да разгледва инструмента: навождаше се до земята, за да попипа нозетѣ и заобикаляше около пианото. Най-послѣ, ръката му попадна на гладкитѣ клавиши.

Тихия тонъ на една струна неувѣрено прогърмѣ въ стаята. Момчето доста врѣме се услушаваше въ изчезналитѣ вече за слуха на майка му вибрации (трептения) и подирѣ съ голѣмо внимание се допрѣ до друга клавиша. Когато неговата ръка извървѣ цѣлата клавиатура, то налучи една нота отъ по-високъ регистръ. На всѣки тонъ то даваше доста врѣме, и тѣ, единъ подиръ други гърмѣхъ, трептѣхъ и се губѣхъ въ въздуха. На лицето на момчето стоеше изражението отъ удоволствие и радостъ; то се наслаждаваше отъ всѣки отдѣленъ тонъ и въ тази вече деликатна внимателностъ къмъ елементарнитѣ тонове, съставнитѣ части на бѣдѣщата мелодия, — излизахъ на явѣ способноститѣ на артиста.

Но заедно съ туй, виждаше се, че слѣпото момче придава на всѣки тонъ и друго, особено свойство: когато отъ --

подъ неговитѣ прѣсти изхвъркваше една весела и ясна нота отъ високія регистръ, то подигваше главата си съ веселъ изгледъ, като да испроважда на горѣ тази звѣплива и хвърчаща нота; наопаки при гѣстото, едвамъ чувано и глухо трептение на басовитѣ ноти, то си наклоняваше ухото; чинѣше му се, че този тежъкъ тонъ се разсилва надъ земята, разпрѣсва се по потона и се губи въ пространството.

## ХІ.

Дѣдо Максимъ се отнасяше търпѣливо къмъ всички тѣзи музикални експерименти. Колкото и да се показва чудно, но тѣй излѣзлитѣ на явѣ музикални наклоности на момчето пораждахъ у инвалида двойно чувство: отъ една страна страстното влѣчение къмъ музиката показваше, че момчето непрѣменно притежава музикални способности и, по такъвъ начинъ, се опрѣдѣляше до нѣгдѣ за него възможното бѣдѣще; отъ друга страна къмъ туй съзнание се примѣсваше въ сърдцето на стария солдатинъ едно неопрѣдѣлено разочарование.

„Разбира се“ — расжждаваше Максимъ, — „музиката е тоже една велика сила, която дава възможность да се завладѣва сърдцето на тълпата. То, слѣпото, ще събира съ стотини на-кичени франтове и госпожи, ще имъ свири разни тамъ . . . . валсове, ноктюрни (правичката да си кажемъ, по-далече отъ тѣзи „валсове“ и „ноктюрни“ не се простирахъ музикалнитѣ познания на дѣда Максима), а тѣ ще си бършатъ сълзитѣ отъ очитѣ съ кърпичкитѣ си. Ехъ! Дяволтъ да го вземе, не ми се щѣше тѣй да бѣде, но какво да се прави! Малкото е слѣпо, па най-послѣ, нека стане такт-во, каквото може. Но по-добрѣ би било да знае пѣсни, нали? Пѣсенъта говори не само на музикално развития слухъ, тя ни рисува и образи, поражда мисль въ главата и мжжество въ сърдцето“.

— Ей, Яйкиме, рече една вечеръ Максимъ, като влизаше въ яхъра заедно съ момчето. — Махни поне веднажъ тази пищялка! Тя е за дѣцата по улицитѣ или за овчарчетата на полето; а ти си туку речи възрастенъ мжжъ, макаръ, че тази глупава Мария те направи да мязашъ на жена. Пфу! дори ме е срамъ за тебе, наистина. Едно момиче не те обикна, и ти оцапа работата. Пищишъ, като яребица въ мрѣжа!

Яйкимъ слушайки тази дълга поучителна рѣчь на расърдения господарь, се поусмихваше въ тъмнината за неоснователния гнѣвъ на господаря си. Само напомняването за дѣцата и за овчарчета го оскърби до нѣкѣдѣ.

— Недѣйте ми приказва това, господарю, говорѣше той. Такъва свирка нѣма да намѣрите нито у единъ овчаринъ по цѣла Украйна, а камо ли у овчарчета. . . Не сж такива, както моята: ето на, послушайте само да видите.

Той затвори съ прѣститѣ си всичкитѣ дупки и взѣ на свирката два тона въ октава, като се възхищаваше отъ тѣхъ. Максимъ плювна на земята.

„Пфу, Боже прости ме! Съвсѣмъ си оглупѣлъ! За какво ми е твоята свирка? Тѣ всички сж отъ единъ сортъ — и свиркитѣ му, и женитѣ му, наедно съ твоята Мария. „Я ни попѣй нѣкоя староврѣмска пѣсенъ, ама хубава!“

Максимъ Яценко, като всѣки малоруссинъ, се отнасяше просто съ селенитѣ и съ слугитѣ. Той често пѣти крѣскаше и се караше, но безъ да оскърби нѣкого и поради това хората се обръщахъ къмъ него съ почитание, но безъ всѣкакъвъ страхъ.

— „Добрѣ!“ рече Яйкимъ. И азъ пѣехъ едно врѣме не по-лошо отъ другитѣ; но, може би, нашата селска пѣсенъ да не ви се хареса, господаю? Забѣлѣжи той иронически.

— Е, де, бърборишъ само глупости, — рече дѣдо Максимъ. „Хубавата пѣсенъ не може да се сравни съ свирката, стига само да умѣ човѣкъ да пѣе, както се слѣдва. Хайде, ще видимъ, ще послушаме, Петре, Яйкимовата пѣсенъ. Ще ли само да я разбереши?“

— Ама туй селска ли пѣсенъ ще е? попита момчето. — Азъ ще я разберъ.

Максимъ въздѣхна.

— Ехъ, момче! Туй не сж прости пѣсни. . . Това сж пѣсни на единъ силенъ, свободенъ народъ. Твоитѣ дѣди по майка сж ги пѣли по стеницѣ на Днепръ, по Дунава и по Черното море. . . Да, ти ще разбереши туй, кога и да е, но сега азъ се божа отъ друго нѣщо.

Дѣйствиелно Максимъ се боеше отъ едно друго неразбиране. Той мислѣше, че яснитѣ картини на епоса изискватъ непрѣмено зрители прѣдставления, за да говорятъ на сърдцето.

Той се боеше, да не би мрачната глава на дѣтето да не е въ състояние да усвои картинния езикъ на народната поезия. Той забравяше, че старитѣ рапсоди, украинскитѣ кобзари и бандуристи бѣхж повечето слѣпци. Дѣйствително тежката сѣдба, уродството ги заставяше често пъти да взиматъ въ рѣцѣ лирата или бандурата, за да испросватъ чрѣзъ тѣхъ милостия. Но не всичкитѣ пъкъ сж били само такива по занятие и само просяци съ прѣхрипнали гласове и не всички сж изгубили зрението си чакъ на стари години. Слѣпотата покрива видимия миръ съ една тъмна завѣса, която, разбира се, покрива мозъка, като затруднява и притѣснява неговата работа, но все пакъ отъ наслѣдственитѣ прѣдставления и отъ впечатлѣніята, които се получаватъ по други начини, мозъкътъ си създава въ тъмнотата свой новъ миръ, тъженъ, печаленъ и мраченъ, но който не е лишенъ отъ своеобразна макаръ и меланхолична поезия.

## ХІІ.

Максимъ сѣдна съ момчето на сѣното, а Яйкимъ се облегна на своя креватъ (тази поза най-много съотвѣтствуваше на неговото артистическо настроение) и, като си помисли малко нѣщо, запѣ. Изборътъ на пѣсенъта излѣзѣ доста сполучливъ. Той пѣеше историческата пѣсенъ:

Ой, тамъ на горі, тай женці жнуть\*) . . .

Всѣкой, който поне единъ пътъ е чувалъ тази прѣкрасна народна пѣсенъ при добро пѣние, непрѣменно е запомнилъ нейния чуденъ мотивъ, високоъ продълговатъ, като да е зачекнатъ отъ скръбъта на историческото възпоминание. Въ нея не се възпѣватъ събития, крѣвави клания и подвизи. Туи не е нито прощавание на казака съ неговата любезна, нито смѣло нападение, нито разбойническа експедиция по синето море и по Дунава. То е само една минутна картина, която блѣсва мигновено въ главата на малорусина, като една неясна мечта, като единъ откъслякъ отъ сѣна за историческото минало. Посредъ обикновеното и смѣтно настояще на деня въ неговото въображение испѣкваше изведнажъ тази картина, тъмна, неясна,

---

\*) Хей, тамъ на височината, тамъ жетваритѣ жнжтъ . . .

покрита съ онази особена тъга, която вѣе отъ исчезналата вече народна старина. Загинала старина, но не безслѣдно! За нея ни приказватъ високитѣ гробни насипи (Кургани), гдѣто посреда нощъ блѣщатъ огньове, отгдѣто се чуватъ нощѣ тежки пѣшквания. За нея ни говори и народното прѣданіе, и исчезающата, за жалость, народна пѣсень.

Ой тамъ на горі, тай женці жнутъ,

А по-підъ горою, по-підъ зеленою

Козаки идуть,

Козаки идуть! . . .

Тамъ на височината, тамъ жетваритѣ жнѣтъ, а подъ височината, подъ зелената (височина), казаки върватъ.

Максимъ Яценко се услуша въ тъжната мелодия. Въ неговото въображение блѣсна онази картина, която бѣ повдигната отъ чудния и удивително съотвѣтствующия на съдържаніето на пѣсеньта мотивъ, като че бѣ освѣтена отъ меланхолическия отблѣскъ на захожданието. Въ зеленитѣ, мирни полета на височината виждахъ се нѣмнитѣ фигури на жетваритѣ, които се навеждахъ надъ нивитѣ. А отдолу безъ шумъ минавахъ отрядитѣ, единъ годиръ други, като се сливахъ съ чернитѣ сѣнки на долината.

По переду Дорошенко

Веде свое вѣйско, вѣйско запорожське,

Хорошенько\*).

И продължителната нота на пѣсеньта за миналото трептѣше, звучеше и утихваше въ въздуха, за да зазвучи повторно и да подигне отъ мрачината нови образи и нови картини.

### ХІІІ.

Момченцето слушаше съ помрачено и жалостно лице. Когато пѣвецътъ пѣеше за поляната, на която жетваритѣ жнѣтъ, въображението тогчасъ прѣнасяше Петърча на познатата нему скала. То я позна по туй, че отдолу шумѣше рѣкичката.

---

\*) Отпрѣдъ върви Дорошенко, той води запорожската войска

То знае вече, що се казва жетвари, то чуваше звънтението на сърповетѣ и шума на падающитѣ класове. Когато пъкъ пѣвеща пѣеше за туй, що се върши подѣ височината, то изведнажъ си прѣдставляваше полето около рѣчната скала. . . .

Звънтението на сърповетѣ прѣстана, но момчето знае, че жетваритѣ сж още тамъ на високата поляна, но не се чуватъ, защото сж на високо — така високо, както бороветѣ, шума на които то чуваше стоейки на скалата. А отдолѣ се чуваше постоянния, равномерния топотъ отъ конскитѣ копита. . . . тѣ сж много, отъ тѣхъ произлиза този неясенъ, продължителенъ шумъ, тамъ въ тъмнината, подѣ височината. . . . „казацитѣ вървятъ“.

То знае тоже, що е туй нѣщо Казакъ. Стария „Хведько“, който по нѣкога дохаждаше въ тѣхния чифликъ, всички го казваха „стария казакъ“. Той не веднажъ е взималъ Петърча на колѣнитѣ си и е гладилъ съ треперящата си ржка косата на момчето. Момчето захващаше да испытва лицето на „Хведька“, то усѣщаше съ свойтѣ осезателни прѣсти дълбокитѣ бръчки, голѣмитѣ, увиснали на долѣ мустаци, впититѣ страни (бузи) и на нихъ старческитѣ сълзи. Такива казаки си прѣдставляваше момчето споредъ думитѣ на пѣсньта тамъ, отдолѣ, подѣ височината. Тѣ ѣдятъ на коне, така, както „Хведька“, съ дълги мустаци, наведени и стари. Тѣ тихо вървятъ напредъ, подобно на безформени сѣнки въ тъмнината и плачѣтъ, както и „Хведько“, може би за туй, че горѣ на полето стоѣтъ тѣзи печални, продълговати тонове на Яйкимовата пѣсенъ — пѣсенъ за „свободния казакъ“, който зарѣзвалъ и младата си жена въ врѣме на война.

На Максима стигаше само единъ погледъ, за да разбере, че впечатлителната натура на момчето е способна да схване поетическитѣ образи на пѣсенъта, безъ да се гледа на неговата слѣпота.

### ГЛАВА III.

Благодарение на порядъка, който въведе дѣдо Максимъ, слѣпото момче оставяхъ самичко да върши всичко споредъ силитѣ си и туй докара най добри резултати. У дома то помагаше, ходѣше свободно на всѣкъдѣ, самъ уреждане кривата и стаята си, държеше въ голѣмъ порядъкъ играчкитѣ си. Освѣнъ

това, до колкото можеше дѣдо Максимъ обръщаше внимание и на физическитѣ упражнения: момчето си имаше своя особна гимнастика, а когато стана на шестъ години Максимъ подари на внука си едно малко и кротко конче. Майката отъ начало не можеша да си прѣдстави, че слѣпотото момченце ще може да ѣзди на конь, и наричаше тази братова мисль просто чиста глупость. Но инвалидътъ употреби всичкото си влияние и по-диръ два-три мѣсеца момчето весело прѣпускаше на конь заедно съ Яйкима, който му показваше само, гдѣ трѣбва да обърне коня си.

По този начинъ слѣпотата не побърка на правилното физическо развитие и нейното влияние на нравствения животъ биде колкото се можеше ослабнато. Споредъ годинитѣ си то бѣше високо и стройно; лицето му бѣше до нейдѣ блѣдно, чертитѣ на лицето нѣжни и ясни. Черната коса даваше още по-голѣмо изражение на блѣлото му лице, а голѣмитѣ, тъмни и малко подвижни очи му придавахъ едно особно изражение, което изведнажъ привличаше вниманието на другитѣ.

Малката впадинка надъ вѣждитѣ, навикътъ да си поиздига главата на напрѣдъ и изражението на тъгата, което отъ врѣме на врѣме прѣминаваше въ видъ на нѣкакви облаци по красивото му лице — туй е всичко, съ което слѣпотата се показваше на неговата външность. Неговитѣ движения въ познатото мѣсто бѣхъ свободни, но все пакъ се виждаше, че природната живость е потисната и само по нѣкой път излиза на явѣ въ видъ на силни нервни напори.

## II.

Сега слуховитѣ впечатлѣния получихъ въ живота на слѣпотото момче прѣобладающе значение, звуковитѣ форми станахъ главнитѣ форми за неговата мисль, центръ на умствената работа. То запомнюваше пѣснитѣ, като се услушваше въ обаятелнитѣ имъ мелодии, запознаваше се съ тѣхното съдържание, като го украсяваше съ тъжна, весела или замислена мелодия. То още по-внимателно схващаше тоноветѣ на околната природа и, като сливаше тъмнитѣ усѣщания съ обикновенитѣ народни мотиви, по нѣкога умѣеше да ги сгруппирва въ такъва свободна импровизация, въ която трудно бѣше да се отличи, гдѣ свършва

народния мотивъ и гдѣ се начева личното творчество. И то самичко не можеше да отдѣли въ пѣснитѣ си тѣзи два елемента; тѣй изобщо сж се слѣли тѣ и двата. То скоро научаваше всичко, което му съобщаваше майка му, която го учеше да свири на фортепиано, но то обичаше тоже и Ййкимовата свирка. Фортепианото бѣше по-богато, по-звучно и по-пълно, но то стоеше въ стаята, когато свирката човѣкъ може да я носи съ себе си на полето и нейнитѣ тонове тѣй нераздѣлно се сливахъ съ тихитѣ степни въздишки, щото и Петърчо самичкъ не можеше да отгадае, вѣтрътъ ли навѣва отъ далече мрачни мисли, или той самичкъ ги извлича отъ свирката си.

Туй увлѣчение къмъ музиката стана центръ на неговия умственъ напръдѣкъ; то попълваше и разнообразѣше неговото съществуване. Максимъ се ползуваше отъ това, за да може да запознае момчето съ отечествената история и цѣла тя прѣмина прѣдъ въображението на слѣпотата, съставена отъ тонове. Заинтересувано отъ пѣснитѣ, то се запознаваше съ нейнитѣ герои, съ тѣхната сѣдба, съ сѣдбата на тѣхното отечество. Отъ тукъ се начена литературния интересъ, тѣй щото на деветата година Максимъ пристъпи къмъ първитѣ уроци. Вѣщитѣ уроци на Максима (който изучаваше специални методи за обучаванieto на слѣпитѣ) доста се харесвахъ на момчето. Тѣ внасяхъ въ неговото настроение новъ елементъ — опрѣдѣленостъ и ясностъ, които уравнивѣвахъ тъмнитѣ музикални усѣщания. По този начинъ момчето бѣше цѣлия день заето; то не можеше да се оплаче отъ недостатѣкъ на въсприеманитѣ отъ него впечатлѣния. Виждаше се задоволено отъ живота, до колкото бѣ възможно туй за едно дѣте. Виждаше се тѣй сжщо, че то не съзнава и слѣпотата си.

А, между това, нѣкаква си необикновена, недѣтинска скѣрбъ се показваше въ неговия характеръ. Максимъ отдаваше това на нѣманието дѣтинско общество и се стараеше да прѣмахне и този недостатѣкъ.

Селскитѣ дѣца, които ги повиквахъ въ двора, стѣснявахъ се и не можехъ свободно да се отпуснатъ. Освѣнъ необикновената за тѣхъ домашна наредба, тѣ не малко се смущавахъ и отъ слѣпотата на „панича“. Тѣ уплашено го поглеждахъ и, като се събирахъ на купъ, мълчехъ или бояливо си шупнѣхъ



едно съ друго. А когато дѣцата ги оставяхъ самички въ градината или на полето, тѣ ставахъ по-распуснати и започвахъ да игражтъ, но при това виждаше се, че слѣпото остава нѣкакъ-си на страна и тажно се услушва въ веселия шумъ на другаритѣ си.

По нѣкога Яйкинъ събираше дѣца около себе си и начеваше да имъ разказва весели приказки и раскаи. Селскитѣ дѣца, добръ запознати и съ глупешкия простонароденъ дяволъ, и съ самовилитѣ, дошлвахъ тия раскаи отъ собственния си запасъ; съ една рѣчь тѣзи бесѣди ставахъ доста весели. Слѣпото момче ги слушаше съ голѣмо внимание и интересъ, но само редко се смѣеше. Както се виждаше, хуморътъ на разговорката рѣчь бѣше за него недостъпенъ: то не можеше да види нито лукавитѣ блѣстящи очи на разказвача, нито усмихнатитѣ бръчки, нито поусукванието на дългитѣ мустаци.

### III.

Подиръ малко врѣме отъ тѣзи събития въ съсѣдното владѣние (чишликъ) се смѣни „поссесорътъ“. Въмѣсто прѣдишния, немирень съсѣдъ, който подигна процесъ даже противъ мълчаливия панъ Попелски поради нѣкакво си пасбище, сега въ ближния чишликъ се посели старикътъ Яскулскій съ жена си. Безъ да се гледа на туй, че и на двамата съпрузи заедно годинитѣ не бѣхъ по-малко отъ сто, тѣ сж се оженили не отдавна, тъй като панъ Якубъ дълго врѣме не могълъ да набере по-трѣбната сума за аренда и за туй се луталъ като „економъ“ по чуждитѣ хора, а госпожица Агнешка, съ надежда за щастливо врѣме живѣеше като почетна слугиня при графиня Н. Н. Когато, най-послѣ, тази щастлива минута настана и зетътъ съ невѣстата застанахъ ржка за ржка въ черквата. то половина отъ косата на зетътъ бѣше побѣлѣла, а покритото отъ срамна червенина лице на невѣстата бѣше тъй сжщо обиколено отъ сръбристи кръмки.

Това обстоятелство, обаче не побърка на съпружеското имъ щастие, и като плодъ отъ тази закѣснѣла любовъ роди имъ се единствената дъщеря, която бѣше почти врѣстница на слѣпото момче. Като се настанихъ на стари години въ туй владѣние, въ което тѣ, макаръ и условно, можехъ да се ми-

слижтъ за пълни господари, старицитѣ заживѣхъ тихичко и скромно, като да възнаграждавахъ себе си съ тази тишина и уединение за неспокойнитѣ години на тежкия животъ прѣкаранъ при „чужди хора“. Първата тѣхна аренда излѣзѣ не до тамъ сполучлива и сега тѣ постѣснихъ работата. Но и въ новото мѣсто тѣ се настанихъ тосчасъ по желанието си. Въ едно къше на стаята стоеше иконастаса, а на едно съ „палмата“ и „громницата“,\*) стоехъ нѣкакви-си торбички съ трѣви и корене, съ които старата лѣкуваше мъжа си и селскитѣ мъже и жени, които дохождахъ при нея. Тѣзи трѣви изпълвахъ цѣлата стаячка съ особена специфическа, приятна *миризма*, която оставаше въ памѣтѣта на всѣки посетителъ наедно съ въспоминанието за тази чиста малка къщичка за нейната тишина и редъ и за двамата старци, живущи единъ тихъ животъ нѣкакъ-си несвойственъ за тогавашното врѣме.

При тѣзи двама старци живѣеше тѣхната единствена дъщеря, едно малко момиче съ дълга руса коса и съ сини очи, което очудваше всички при първо запознаване съ едно не-обикновено спокойствие, което бѣше разлѣно по цѣлото ѝ сѣщество. Спокойствието и безстрастието на закъснѣлата любовъ на родителитѣ изглеждаше да се е отпечата на въ характера на момичето, въ тази именно нейна не дѣтинска разсѣдливостъ, въ спокойствието на движенията ѝ, въ меланхоличността и голѣмината на спитѣ ѝ очи. Тя никога не отбѣгваше отъ чуждитѣ хора, не странѣше отъ врѣстниците си и взимаше участие въ тѣхнитѣ игри. Но всичко това ставаше съ такава искрена снисходителностъ, като че ли за нея лично всичко туй бѣше съвсѣмъ не нужно. Дѣйствително, тя бѣше благодарна отъ собственото си общество: тя се расхождаше, събираше цвѣта, разговаряше се съ куклата си, и всичко туй вършеше съ изглѣдѣтъ на една такава сериозностъ, щото по нѣкой път струва ви се, че прѣдъ васъ стои не дѣте, а една малка възрастна жена.

#### IV.

Единъ день Петърчо бѣше самичкъ на височинката при рѣката. Слънцето залѣзваше, въ вѣдуха бѣше тихо, само му-

---

\*) Палма съотвѣтствува на нашата „върба“, а „громница“ — восчена свѣщъ, която а палватъ, когато има силни бури, гърмежи, а тѣй сѣщо а туржтъ и въ рѣцѣтъ на умирающитѣ.

чението на стадата, които се връщаха въ селото достигаше до неговитѣ уши, момчето току що бѣше прѣстанало да свири и бѣше се търколило на трѣвата, като се прѣдаваше на полу-дрѣмливата умора на лѣтния вечеръ. То бѣше се занесло за малко врѣме, когато изведнажъ нѣкакви лежки стѣпки го разсѣнихъ. То недовошно се подигна на лакъта си и се услуша. Стѣпките прѣстанахъ да се чуватъ долу при подножието на височинката. Вървежа не му бѣше познатъ.

— Момче! — чу то изведнажъ задъ себе си единъ дѣтински гласъ, — не знаешъ ли, кой свирѣше сега тукъ?

Слѣпото момче не обичаше да нарушаватъ неговото уединение, за туй то отговори на въпроса не съ особено вѣжливъ тонъ:

— Азъ бѣхъ . . . .

Легкото очудено провикване бѣше отговора на запитването му и въ сѣщия часъ момчето продума съ добродушенъ и удобрителенъ тонъ:

— Колко хубаво!

Слѣпото момче мълчеше.

— Защо не си отивате? — попита то подирѣ, като чуваше, че неканената гостенка продължава да стои на сѣщото мѣсто.

— Ама защо ме пѣдинъ? — попита момчето тихо и зачудено.

Тонътъ на тоя спокоенъ и ясенъ дѣтински гласъ дѣйстви-вуваше приятно на слуха на слѣпото момче; при все това то отговори съ сѣщия тонъ, както и прѣди:

— Азъ не обичамъ когато идватъ при мене . . . . момиченцето почна да се смѣе.

— Ето, на! . . . . Я го вижте! Нима цѣлата земя е твоя и можешъ ли ти да заприѣтишъ комуто и да било да ходи по земята?

— Майка ми заповѣда на всички да не дохождатъ тукъ при мене.

— Майка ти? — попита замислено момичето.

А майка ми пѣкъ ми позволи да ходѣ покрай рѣката...

Момчето, разгалено до нѣкъдѣ отъ всеобщата отстѣпчивостъ на домашнитѣ му, не бѣше привикнало на такива упорити отговори. Една гнѣвна вълна прѣмина по неговото лице

като облакъ; то се попривдигна и начена да вика бърже и възбудено:

— Идѣте си, идѣте си! . . . Не е извѣстно, като какъ би се свършила тази сцена, ако въ туй врѣме отъ чифлика не бѣше се чулъ гласътъ на Яйкима, който го викаше за чай. То бърже слѣзѣ отъ височинката на долу.

— Ахъ, какво лошо момче! — чу то отдирѣ си негоду-  
ющитѣ думи на момчето.

## V.

На другия день, като сѣдѣше на същото мѣсто, момчето си припомни за вчерашното сблъскване. Сега то си припомняваше безъ да му е мѣчно. Напротивъ, даже искаше му се повторно да дойде това момиченце съ такъвъ приятенъ и спокоенъ гласъ, какъвто то до сега още не е чувало. Познатитѣ му дѣца така също силно викахъ, смѣхъхъ се, борѣхъхъ се и плачехъхъ, но нито едно отъ нихъ не говорѣше тъй приятно. Дожалѣ му даже, че то докачи непознатото момиченце, което, навѣрно, нѣма да дойде още веднажъ.

Дѣйствително, три дена момиченцето не дохожда. Но на четвъртия Петърчо чу нейнитѣ стъпки по брѣга на рѣката. Тя вървѣше тихо; пѣска хрущѣше подъ краката ѝ, и тя пѣше съ половинъ гласъ една полска пѣсенчица.

— Слушайте! извика то, когато момиченцето доближи до него. — Вие ли сте пакъ?

Момиченцето не отговори. Рѣчнитѣ камъчета, както по-прѣди, хрущѣхъхъ подъ краката ѝ. Въ присторената безгрижностъ на гласа ѝ, като пѣше пѣсенъта, момчето усѣщаше още незабравеното докачение.

Обаче, като извървѣ нѣколко крачки, непознатото момиче се спрѣ. Двѣ-три секунди се изминахъ въ мълчание. Тя въ туй врѣме правѣше китка отъ полскитѣ цвѣта, които държеше въ рацѣтъ, а момчето чакаже отговоръ. Въ това спиране и въ мълчанието, което послѣдва подиръ него, то забѣлѣза извѣстна слѣда отъ съзнателно и нарочно прѣнебрѣжение.

— Мигаръ не виждате, че съмъ азъ? попита тя най-послѣ съ голѣмо достоинство, слѣдъ като свърши съ китката.

Този простъ въпросъ скръбно се отрази въ сърдцето на слѣпото момче. То нищо не продума, но само ржцѣтъ му, съ които то се опираше на земята, нѣкакъ-си конвулсивно се хванаха за трѣвата. Разговорътъ бѣ вече захванатъ, а момичето стоейки все на сѣщото мѣсто и като бѣше заето съ китката, повторно попита:

— Кой те научи да свиришъ тѣй хубаво?

— Яйкимъ ме научи, отговори Петърчо.

— Много хубаво! А защо си ти такъвъ сърдитъ?

— Азъ . . . не Ви се сърджъ, рече момчето тихо.

— Е, тогава и азъ не се сърджъ . . . . хайде да си играемъ заедно.

— Азъ не знамъ да играмъ съ васъ, отговори то, като се замисли.

— Не знаешъ ли да играешъ? . . . Защо?

— Тѣй.

— Не, наистина, кажи пѣкъ защо?

— Тѣй, отговори то съвсѣмъ тихо и още повече се замисли.

Нему не бѣше се случвало до сега да говори съ нѣкого за слѣпотата си, а простодушния тонъ на момичето, което му повтаряше съ настоявание този въпросъ, нараняваше неговото сърдце.

Непознатото момиче се искачи на височинката.

— Какъвъ си смѣшенъ, — възъ да му говори тя съ снисходително съжаление, като се готвѣше да сѣдне на трѣвата наредъ съ него.

— Това ти го п авишъ, навѣрно, за туй, защото не се познавашъ съ мене. Но почакай малко, ти ще ме узнаешъ и тогава ще прѣстанешъ да се боишъ отъ мене. А азъ не се боя отъ никого.

Момичето говорѣше туй съ сигурна яростъ и момчето чу какъ тя хвърли въ прѣстилката си единъ купъ цвѣтя.

— Отъ гдѣ взѣхте цвѣтята? — попита момчето.

— Отъ тамъ, — кивна момичето съ глава, като покъваше отъ отзадъ.

— Въ ливадата?

— Не въ ливадата, тамъ.

— Слѣдователно, въ горичката. А какви сж тѣзи цвѣтя?

— Мигаръ ти не отбирашъ отъ цвѣтя? . . . . Ехъ, какъвъ си чуденъ . . . . наистина, ти си много чуденъ . . . .

— Момчето взѣ въ ржцѣтъ си едно цвѣте. То попиша бърже и легкичко съ прѣститѣ си листата и коронката му.

— Това е лютиче, — рече то, — а ето туй е теменуга.

Подирѣ то поиска по сжщия начинъ да се запознае и съ своята другарка: като хвана съ лѣвата ржа момичето за рамото, то съ дѣсната си взѣ да пспитва нейнитѣ коси, подирѣ вѣждитѣ и бърже прѣмина съ прѣститѣ по лицето, като се спираше на нѣкждѣ и внимателно изучаваше непознатитѣ черти.

Всичко туй бѣше извършено тѣй неочаквано и бърже, щото момичето, поразено отъ удивление, не можеше да продума нито дума; тя само го гледаше съ широко отворенитѣ си очи, въ които се отражаваше чувство близо до ужасъ. Чакъ сега тя забѣлѣза, че въ лицето на нейния новъ другаръ има нѣщо необикновено. Блѣднитѣ му и нѣжни черти останаха неподвижни, като изражаважж напрѣгнато внимание, което не хармонираше нѣкакъ-си съ неговия неподвиженъ погледъ. Очитѣ на момчето бѣха устрѣмени на нѣкждѣ, безъ никакво отношение къмъ онуй, което то вършеше, и въ тѣхъ чудно блѣстѣше отражението на заходящото слънце. Всичко туй се показва на момичето за една минута като страшна бъркотия.

Като освободи рамото си отъ ржцѣтъ на момчето, тя изведнажъ скочи на нозѣтъ и заплака.

— Защо ме плашинъ, умразно момче? продума тя съ гнѣвъ и насълзена. — Какво ти сторихъ? . . . Защо? . . .

Момчето сѣдѣше все на сжщото мѣсто, замислено, съ низко наведена глава, и едно необикновено чувство, смѣсь отъ жка и унижение, нарани неговото сърдце. За първи пътъ то бѣше длъжно да испита унижението на единъ сакатъ човѣкъ; за първъ пътъ то узна, че неговия физически недостатъкъ може да поражда не само съжаление, но и уплашване. Разбира се, че то не можеше да разбере ясно тежкото чувство, което го притѣсняваше, но поради това, че туй съзнание бѣше неясно и тъмно, то причиняваше не по-малко страдание.

Едно чувство отъ горчива болка и тежка обида го задушаваше въ гърлото; то падна на трѣвата и заплака. Плачѣтъ

ставаше все по-силенъ и по-силенъ, конвулсивнитѣ хълцания растрепервахъ цѣлото му тѣло, толкозъ повече, че нѣкаква-си вродена гордостъ го караше да спира туй избухвание.

Момичето, което бѣше вече слѣзало отъ височината, дочу тѣзи глухи ридания и съ очудване се върна. Като виде, че нейния новъ другаръ лежи ничкомъ и тѣжно плаче, тя усѣти състрадание, искачи се тихо на височината и се спрѣ близо до момчето.

— Слушай, проговори му тя тихо, — за какво плачешъ? Ти, навѣрно, мислишъ, че азъ ще се оплача? Е остави, не плачи, азъ нѣма на никого да кажж.

Думитѣ и умилния тонъ възбудихъ въ момчето още поголѣмо нервно избухвание на плача. Тогава момичето присѣдна до него; като постоя тѣй колкото половинъ минута, тя тихо го похвана за косата, поглади го по лицето и подирѣ съ меко настоявание, подобно на майка, която успокоява наказаното дѣте, поповдигна му главата и възъ да истрива съ кърпичка насълзенитѣ му очи.

— Е, де, прѣстани, най-послѣ. Захвана тя съ тонъ приличенъ на възрастна жена. Азъ вече не се сърджъ. Азъ виждамъ, че ти е жално за туй, гдѣто ме исплаши.

Азъ не искахъ да те исплашж, отговори момчето, като въздъхваше дълбоко, за да усмири нервнитѣ пристѣпи.

— Добрѣ, добрѣ! Азъ не се сърджъ!... Ти другъ пѣтъ нѣма да правишъ вече туй. Тя го поведигна отъ земята и се стареаше да го турне до себе си.

То се покоряваше. Сега то сѣдѣше, както и прѣди съ лице обърнато къмъ страната, гдѣто захождаше слънцето, и когато момичето повторно погледна въ лицето му, освѣтено отъ червеникавитѣ лъчи, то лицето му ѝ се виде пакъ необикновено. Въ очитѣ на момчето стоехъ още сълзи, и тѣ бѣхъ, както и по-прѣди, неподвижни; чертитѣ на лицето му постоянно се движехъ отъ плачевнитѣ пристѣпи, но, заедно съ туй, въ тѣхъ се съглеждаше не дѣтинска, дълбока и тежка тѣга.

— Но все пакъ, ти си доста чудно момче, рече му тя замислена и съ участие.

— Азъ не съмъ чуденъ, отговори то съ нажалена гримаса.  
— Не, азъ не съмъ чуденъ... Азъ... азъ съмъ слѣпъ.

— Слѣпъ? продължено произнесе момичето и гласът ѝ потрепера, като че ли тази скръбна дума, тихо произнесена от момчето, причини неизгладимъ ударъ въ малкото ѝ женствено сърдце. — Слѣпъ? повтори тя съ още по-треперящъ гласъ и, като да търсѣше отбрана противъ непрѣодолимото, жалостно чувство, което я обхвана цѣла, тя изведнажъ обгърна шията на момчето съ ръцѣтъ и се наведе къмъ него съ лицето си.

Поразена отъ неочакваното печално откритие, малката жена не се удържа на висотата на солидността си и, като се прѣобрази изведнажъ на огорчено и безпомощно въ огорчението си дѣте, тя заплака тъжно и безутѣшно.

## VI.

Прѣминахъ нѣколко минути въ мълчание. Момичето прѣстана да плаче, и само отъ врѣме на врѣме още похълцваше, като се прѣспиваше. Съ очи пълни съ сълзи тя гледаше, какъ слънцето, като да се върти въ растопената, пламнала атмосфера на захода, потъваше задъ тъмната линия на хоризонта. Мерна се още единъ път златния изрѣзъ на огненото кълбо, подиръ това се прѣснахъ двѣ-три запалени искри и тъмнитѣ отблѣзвани на далечната гора се показахъ изведнажъ въ видъ на непрѣкъсната синкава линия.

Отъ рѣката повѣя хладенъ вѣтрецъ, тихия миръ на настѣпающата нощъ се отрази и по лицето на слѣпото момче; то сѣдѣше съ наведена глава, навѣрно, очудено отъ исказаното горещо съчувствие.

— Менѣ ми е жално . . . продума тя най-послѣ, все още като похълцваше, за обяснение на своята слабостъ.

Подирѣ, като успѣ да надвие малко нѣщо на себе си, тя се спита да прѣхвърли разговора върху другъ прѣдметъ, за който тѣ и двамата да могатъ да говорятъ равнодушно.

— Слънцето залѣзе, проговори момичето замислено.

— Азъ не знамъ, какво е то, бѣше скръбния отговоръ.

— Азъ само го . . . усѣщамъ . . .

— Мигаръ ти не знаешъ, какъ изглежда слънцето?

— Да.

— А . . . майка си . . . тѣй сжщо не знаешъ?



— Мама я знае. Азъ всѣкога отъ далече познавамъ нейния вървежъ.

— Да, да, туй е вѣрно. И азъ съ затворени очи познавамъ майка си.

Разговорътъ възъ по-спокоенъ характеръ.

— Знаете, заговори момчето съ извѣстна живостъ, азъ усѣщамъ слънцето и знаеж, когато то е залѣзало.

— Отъ кадѣ знаешъ туй?

— Отъ туй, защото... ама, виждашъ ли?... И азъ самъ не знаеж, защо....

— А-а! продължи момичето, както се виждаше съвсѣмъ удовлетворено отъ този отговоръ, и тѣ и двамата замълчехъ.

— Азъ знаеж да четъ, пръвъ проговори пакъ Петърчо, — скоро ще се научъ и да пишъ съ перо.

— Ами какъ можешъ?... възъ да говори момичето и изведнажъ свѣнливо млъкна, като не искаше да продължава деликатното запитване. Но момчето разбра, какво искаше да пита момичето.

— Азъ четъ въ своя собствена книжка, — разясни то, съ прѣсти.

— Съ прѣсти? Азъ никога не бихъ се научила да четъ съ прѣсти... Азъ и съ очи калпаво четъ. Баща ми мѣ казва, че женитѣ мъчно разбиратъ науката.

— А азъ мога да четъ даже по французски.

— Колко си уменъ! Искрено се зарадва момичето. Обаче, азъ се боже, да не би ти да настинешъ. Виже тамъ надъ рѣката каква е мъгла.

— Ами ти?

— Азъ не се боже; какво ще ми стане?

— Е, че и азъ не се боже. Мигаръ е възможно, щото единъ мъже да настине по-скоро отъ една жена? Дѣдо Максимъ ми казва, че мъжътъ не трѣбва да се бои отъ нищо: нито отъ студъ, нито отъ гладъ, нито отъ грѣмотевица, нито отъ буря.

— Масимъ?... Онзи, съ патерицитѣ?... Азъ съмъ го виждала. Той е страшенъ.

— Не, той никакъ не е страшенъ. Той е много добръ.

— Не, страшенъ е! съ увѣреностъ повтори момичето. Ти не знаешъ, защото не си го виждалъ.

— Аз го знам. Той не учи на всичко.  
 — Вие ли?  
 — Едвай пак не вие и не ми се кара...  
 — Той е добро. Мигаръ е възможно да се бие слъпо момче! Той е глупост.

— Ама той никого не бие, рече Петърчо до нѣгдѣ невнимателно, защото тъмни му слухъ бѣ почувлъ крачкитѣ на Микла.

Надестина рѣката бѣгаша на Микла захвана да се поизвива поодиръ една минута на хълмистия гребенъ, който отдѣлише чирлива отъ брѣта на рѣката и гласътъ му прозвуче надалече прѣзъ вечерната тишина:

— На-ни-чу-у-у-у! (Господарче-е-е!)  
 — Визагъ те, рече момчето, като ставаше.  
 — Да. Но мене не ми се иска да си отида.  
 — Или си, или си! Азъ утрѣ ще дойда пакъ при тебе.  
 Сега тебе те чакагъ, а я мене глѣ също.

## VII

Момчето изтъгна точно обѣщанието си и даже по-рано, отъ колкото Петърчо би се надѣсгалъ. На другия день, съдейки въ станта си съ Максима и учейки любимия си урокъ, то изведнажъ си повдигна главата, услуха се и радостно рече:

— Пустни ме за една минута. Тамъ е дошло момчето.  
 — Какво момче? Очуди се Максимъ и тръгна подиръ момчето къмъ вратата.

Дѣйствително, вчерашната приятелка на Петърча въ тази сѣщата минута бѣше вѣзала прѣзъ портата на чифлика и, като виде Анна Михайлова, която минаваше прѣзъ двора, свободно тръгна къмъ нея.

— Какво искашъ момиченце? попита го тя, като мислѣше, че сж го проводили нѣщо по работа.

Малката жена ѝ подаде спокойно рѣката си и я попита:

— Вие ли имате слѣпо момче?... Да?

— Ние, миличка, да ние, — отговори госпожа Понелска, като се радваше на нейнитѣ ясни очи и на свободнитѣ ѝ обнови.

— Ето, на, виждате ли . . . мама ме пушна да дойде при него. Мож ли да го види?

Въ туй време Петърчо самъ се притече при нея, а на стълбитъ се появи фигурата на Максима.

Туй е вчерашното момиченце, мамо! Азъ ти расправихъ за него — рече момчето, като се здрависваше. — Само че азъ сега учя.

— Ехъ, този път дѣдо Максимъ ще те пусне, — рече Анна Михайлова, — азъ ще поискамъ отъ него позволение.

Между туй, мѣнечкото момиче, което, споредъ както се забѣлжаваше се чувствуваше, като у дома си, трѣгна къмъ Максима, който дохождаше при тѣхъ на патерицитъ си, и, като му подаде ръка, рече съ милостивъ и снисходително-удобрителенъ тонъ:

— Туй е добро, че вие не биете слѣпото момченце. То ми расправи.

— Нима, г-це? — Попита я Максимъ съ комическа важность, като взимаше въ широката си ръка малката ръчичка на момичето. — Колко съмъ благодаренъ на моя ученикъ, че той съумѣлъ да расположи въ моя полза такъва прѣкрасна особа.

И Максимъ се разсмѣ, като гладѣше ръчичката ѝ която държеше въ своята ръка. Между туй, момичето продължаваше да гледа въ него съ отворонъ погледъ, който изведнажъ завладѣ неговото жено-ненавистническо сърдце.

— Я, гледай Анке, каза той на сестра си съ една страна усмивка, — нашия Петръ начева самъ да прави запознанства. И съгласи се, Анно . . . безъ да се гледа на туй, че е слѣпъ, той все пакъ е сполучилъ да направи добръ изборъ, не е ли истина.

— Какво искашъ да кажешъ съ туй Максиме? строго попита младата жена и гореща червенина облѣ цѣлото ѝ лице.

— Шегувамъ се! — отговори братъ ѝ лаконически, като виде, че съ шегата си той задена болната струна, откри тайната мисль, която се бѣше появила въ прѣдвидливото майчино сърдце.

Анна Михайлова още повече се исчерви и, като се наведе бърже, подбуждана отъ страстна нѣжность, прѣгърна момичето; послѣдното прие неочакваното милване все съ сщия асенъ, макаръ и малко нѣщо очуденъ погледъ.

## VIII.

Отъ този денъ вече между „поссесорската“ (арендаторската) къщица и чифлика на Пополски се завързаха най-близки отношения. Момичето, което го казваха Евелина, дохождаше всъщностъ единъ денъ въ чифлика, а подиръ малки врѣме тя стана и ученичка на Максима. Отъ начало този планъ на туй взаимно и съвмѣстно обучение не се хареса твърдѣ много на пана Яскулски. Едно, понеже той мислеше, че ако жената знае да запише пранието и да води домашния расходенъ тефтеръ, то туй е напълно достатъчно; и второ, той бѣше вѣренъ католикъ и споредъ неговото мнѣние Максимъ не трѣбваше да се бие съ австрийцитѣ, въпреки ясно изказаната воля на „свѣтия отецъ-папата“. Най-послѣ, неговото твърдо убѣждение бѣше туй, че на небето има Богъ, а Волтеръ и волтериянциѣ врижатъ въ адска смола, каквато сѣдба, по мнѣнието на мнозина, очекваше и пана Максима. Обаче, подиръ по-близкото запознавание, той трѣбваше да признае, че този еретикъ и крамолникъ човѣкъ е съ твърдѣ добръ нравъ и доста уменъ, вслѣдствие на това арендаторътъ почна да отстъпва.

При все това, обаче, никакво си безпокойствие не оставаше на мира стария Яскулски и за туй той, като доведе дѣщеря си за пръвъ пътъ, счете за нужно да се обърне къмъ нея съ една трѣжествена и надута рѣчь, която, въпрочемъ, повече бѣше прѣдназначена за слуха на Максима:

— Слушай, Евелинке . . . , рече ѝ той, като я хвана за рамото и като попоглеждаше къмъ нейния бѣдждѣщъ учителъ. — Помни всѣкога, че на небето има Богъ, а въ Римъ е неговия намѣстникъ „свещения отецъ“, Туй тебе ти го говорѣ азъ, Валентинъ Яскулски, и ти трѣбва да ме вѣрвашъ, за туй, защото азъ съмъ твой баща, — туй е grimo!

При това послѣдва новъ внушителенъ погледъ къмъ страната на Максима; панъ Яскулски подчертаваше своитѣ латински думи, като искаше съ това да даде да се разбере, че и той не е чуждъ къмъ науката и, въ случай на нѣщо, мѣчно ще може да го излъжатъ.

— *Secundo*, азъ — шляхтичъ (благородникъ) на славния гербъ, въ който заедно съ „копѣта и враната“ не напрасно

стои и кръстъ на синьо поле. Цѣлата фамилия Яскулски, бидейки нѣкога добри рицари, сж си спомнили и за небеснитѣ работи, и за туй ти си длъжна да ме вървашъ. А за останалото, що се отнася до orbis terrarum, т. е. всичко земно, слушай каквото ги каже панъ Максимъ Яценко, и учи се добръ.

— Не бойте се, пане Валентинъ, усмихнато му отговори Максимъ на тази дълга рѣчь, — ние не събираме госпожици за четата на Гарибалди.

## IX.

Задружното обучение се оказа и за двѣтѣ момчета доста полезно. Петърчо вървѣше въ уроцитѣ си, разбира се, по-напрѣдъ, но туй не пречеше да се породи между тѣхъ извѣстно надпрѣварване. Освѣнъ това, Петърчо помагаше на Евелина често пѣти да си научава уроцитѣ, а тя пъкъ намѣрваше по нѣкой пѣтъ сполучливи способности, за да обясни на момчето нѣща, които то малко можеше да разбере.

Освѣнъ това нейното другаруване внасяше въ неговитѣ занятия нѣщо ново, придаваше на неговата умствена работа едно особено приятно поощрение.

Изобщо тази дружба бѣше сжщински даръ на милостивата сждба. Сега момчето не трѣсѣше съвършенно уединение; то намѣри туй сдружаване, което не можеше да му достави обичьта на възрастнитѣ, и въ минутитѣ на душевно спокойствие му бѣше приятна нейната близость. Тѣ си ходѣхж на всѣкждѣ двамата заедно. Когато то свирѣше, тя го слушаше съ наивно въсхищение. Когато пъкъ то оставяше на страна свирката, тя начеваше да му съобщава своитѣ дѣтински впечатлѣния на околната природа; наистина, тя неможеше да ги изразява напълно съ съответствующитѣ думи, но за туй пъкъ въ нейнитѣ прости раскази, въ тѣхния тонъ, то схващаше характеристичния колоритъ на всѣко явление, което тя му описваше. Тѣй напр., когато тя говорѣше за тъмнината на влажната и черна нощъ, раслана върху земята, то като че слушаше тази тъмнота въ задържанитѣ звучащи тонове на нейния треперящъ гласъ. Когато пъкъ тя, като подигаше на горѣ замисленото си лице, му расправяше: „ахъ, какъвъ облакъ иде, какъвъ тъменъ облакъ, страшенъ!“ — То изведнажъ усѣщаше едно хладно повѣвание

и слушаше въ нейния гласъ заплашителното фучение на чудовището, което пълзи тамъ, нѣгдѣ въ далечната височина на небото.

## ГЛАВА IV.

### I.

Има натури, като че ли отъ по-рано прѣдначени за тихия подвигъ на любовта, която е свързана съ скърбъ и грижи, — натури, за които грижитъ за чужда неволя съставляватъ, като че ли, атмосфера, оргоническа потрѣбностъ. Природата още съ врѣме е надарила такива натури съ спокойствие, безъ което е немислимо всѣкидневното и прозаично прѣкарване на живота: тя прѣдвидливо умечила въ нихъ личитѣ стремлѣния и исканията на наслаждаването отъ живота, като подчинила тѣзи стремлѣния и тѣзи искания на господствующата черта на характера. Такви натури се показватъ често пѣти съвсѣмъ хладни, доста расхлдиви, лишени отъ чувство. Тѣ сж глухи къмъ страстнитѣ примамки на грѣшния животъ и вървятъ по мѣчния пѣтъ на обязаноститѣ тѣй както и по пѣтя на най-свѣтлото лично щастие. Тѣ сж показватъ хладни, както снѣжнитѣ върхове, и като тѣхъ величествени. Хорскитѣ безсмислици и дрѣболи се растилатъ у тѣхнитѣ крака; дори клеветата и разнитѣ клюкарства се отърсватъ огъ тѣхната бѣлоснѣжна дрѣха, както нечистата вода — отъ крилата на лебеда...

Малката другарка на Петърча бѣше отъ този типъ хора и притежаваше всичкитѣ тѣзи черти, тя имаше този характеръ, който рѣдко се изработва отъ жив та и възпитанието: той като таланта, като гения, се пада въ дѣла само на избранитѣ натури и още рано излиза на явѣ. Майката на слѣпото момче разбираше какво щастие случая е подарилъ на сина ѝ въ тази дѣтинска дружба.

Туй разбираше и стария Максимъ, комуто се струваше, че сега неговия ученикъ има всичко, което още му недостигаше, че сега душевното развитие на момчето ще трѣгне по своя тихъ и равенъ, отъ нищо не припятствуванъ, пѣтъ...

Но туй бѣше само една скръбна и голѣма измама.

## II.

Въ първитѣ години отъ живота на дѣтето, Максимъ мислѣше, че той напълно владѣе душевното развитие на момчето, че това развитие става, ако не направо подъ негово влияние, то въ всѣки случай нито една негова страна, нито едно негово ново придобивание въ тази областъ не ще избѣгне отъ неговото наблюдение и контролъ. Но когато настана въ живота на дѣтето периодътъ, който се явява като прѣходна граница между дѣтинството и юношеството, Максимъ забѣлѣва до колко сж били безосновни тѣзи негови горделиви педагогически фантазии. Казви, че всяка недѣля донасяше съ себе си нѣщо ново, по нѣкога съвършено неочаквано по отношение къмъ слѣпото момче, и когато Максимъ се стараеше да намѣри источникътъ на нѣкоя нова идея или прѣдставление, които се появявахж у дѣтето, то той се забръкваше. Нѣкаква неизвестна сила работѣше въ дълбочината на дѣтинската душа, като изваждаше отъ тази дълбочина неочаквани проявявания на едно самостоятелно душевно развитие, а Максимъ трѣбоваше да благоговѣе прѣдъ таинственитѣ процеси на живота, които се вмѣсвахж по този начинъ въ педагогическата му дѣятелность. Тѣзи тласъци на природата, нейнитѣ раскривания виждаше се, че правѣтъ достѣпни на дѣтето прѣдставления, които не можехж да бѣдѣтъ добити чрѣзъ личния опитъ достѣпенъ на слѣпото момче, и Максимъ подозираше тукъ една непрѣкъсната свѣрска на жизненинѣ проявявания, която (свѣрска) прѣминава прѣзъ единъ послѣдователенъ редъ отъ отдѣлни жизнени моменти, като се раздробява въ сжщото врѣме на хиляди различни процеси.

Отъ начало туй наблюдение уплаши Максима. Като виде, че не е само той, който владѣе умственото развитие на дѣтето, че въ това развитие се показва и нѣщо друго, което независи отъ него и което излиза отъ границитѣ на неговото влияние, той се уплаши за сждбата на своя ученикъ и се боеше отъ запитванията, които би могли да послѣдватъ и които би послужили на слѣпото момче само като причина на неизгладими и безкрайни мжчения. И той се стараеше да намѣри изворотъ на тѣзи непознати нему явления, за да ги затисне за доброто на слѣпото момче.

Тѣзи неочаквани проявявания не избѣгнах и отъ майчиното внимание. Една заранъ Петърчо дотърча при нея твърдѣ развълнуванъ.

— Мамо, мамо, завика той; азъ видохъ единъ сънъ.

— Е, що виде, пилонце? запита го тя съ наскърбенъ гласъ.

— Азъ видохъ въ съна, че азъ . . . виждамъ . . . тебе

Максима и още . . .

— И още какво?

— Не помня повече.

— А мене помнишъ ли още?

— Не, рече момчето, като си помисли.

— Азъ забравихъ всичко . . . Но, при все това, азъ видохъ, дѣйствително, видохъ . . . прибави то подиръ една минута.

Туй се повтаря още нѣколко пѣти и всѣкой пѣтъ момчето ставаше по-тажно и по-неспокойно.

### III.

Единъ день, минавайки по двора, Максимъ чу въ приемната стая, гдѣто обикновено се прѣподавах на момчето уроци по музиката, нѣкакви си необикновени музикални упражнения. Тѣ се състоеха отъ двѣ ноти. Отъ начало трепетѣше най-високата, ясна нота на високия регистръ отъ бървитѣ, послѣдователни, почти сливающи се удари по клавишата, подиръ тя мигновено се замѣняваше отъ пизкото разливание и грѣмение на баса. Като се позаинтересува да узнае, какво означаватъ тѣзи необикновени екзерциций, Максимъ бърже се опати съ патерицитѣ си прѣзъ двора и подиръ една минута влѣзна въ приемната стая. Той се спрѣ на вратата като вцепененъ прѣдъ картината, която му се прѣдстави.

Момчето, което бѣше встѣпило въ десетата година, сѣдѣше при новѣтѣ на майка си на едно ниско столче. Наредъ съ него стоеше младия укротенъ щъркъ, когото Яйкимъ бѣше подарилъ на „панича“; щъркътъ си бѣше протегналъ шията и движеше на страни дългия си клюнъ. Момчето всѣка заранъ хранѣше птицата отъ собственитѣ си ржцѣ и тя придружаваше на всѣкъ своя новъ другаръ-стопанинъ. Сега Петърчо държеше съ едната си ръка щърка, а съ другата тихо вървѣше надолу по неговата шия, подиръ по гърба съ напрѣгнато внимание. Въ



туй сжщото врѣме майка му, съ пламнало, възбудено лице и скърбѣнъ погледъ бърво удряше съ прѣстъ по клавишата, като искараваше отъ инструмента една непрѣкъснато-звѣняща висока нота. Заедно съ туй, като се облегаше на стола, тя съ болѣзнено внимание гледаше въ лицето на момчето. Когато пѣкъ ржката на момчето, пѣлзейки по свѣтло-бѣлитѣ пера, достигаше до туй мѣсто, гдѣто тѣзи пера се замѣнявахъ съ черни — по крайщата на крилѣтъ, Анна Михайлова изведнажъ прѣмѣташе ржката си на другия клавишъ и ниската басова нота тежко се разливаше по стаята.

Тѣ двама, майката и синѣтъ, бѣхъ тѣй обаети отъ занятието си, щото не забѣлѣвахъ дохожданието на Максима, до като той най-послѣ, слѣдъ като се свѣсти, не прѣкрати сеанса съ въпроса.

— Анке! що значи туй?

Младата майка като виде насочения къмъ нея пронизителенъ погледъ на брата си, доста се сконфузи, като ученичка, заварена отъ строгия си учителъ на мѣстото на прѣстѣпленieto.

— Ето на, вижъ, почна тя записана, то казва, че намира извѣстна разлика въ цвѣта на пѣрка, само че не може ясно да разбере въ що се заключава тази разлика... Дѣйствително, то първо възъ да говори за това... и струва ми се, че има право...

— Е, че какво отъ туй?

— Ето... азъ искахъ... малко... да му... обясня тази разлика чрѣзъ различието на тоноветѣ... Не ми се сърди, Максиме, но азъ мисля, дѣйствително, че туй е доста сходно...

Тази неочаквана идея очули Максима до толкова, щото той отъ начало не знаеше какво да каже на сестра си. Той я накара да повтори своитѣ опити и, като се поогледа въ напрѣгнатото изражение на лицето на слѣпото момче, поклати си главата.

— Чувай ме, Анно, ѣ рече той, като остана на самѣ съ сестра си. — Не трѣбва да възбуждашъ въ момчето въпроси, на които ти никога, никога не ще бждешъ съ състояние напълно да отговоришъ.

— Но то самичко ми отвори дума за туй, наистина... прѣкъсна го Анна Михайлова.

— Все едно. На момчето не остава нищо друго, освѣнъ да привикне съ слѣпотата си, а ние трѣбва да се стараемъ, щото то никога да не си задава въпроси за свѣтлината . . . Азъ се старая, щото никакви външни прѣдизвиквания да не го довеждатъ до безполезни въпроси, и ако би да ми се удаде да отмахна тѣзи прѣдизвиквания, то момчето нѣма да съзнава недостатъка въ чувствата си, тъй също, както и ние, които притежаваме всички петъ чувства, не скърбимъ, че нѣмаме още и шесто.

Сестрата, както винаги склони на убѣдителнитѣ братови доказателства, по въ този случай тѣ и двамата се лъжеха: грижейки се за прѣмахването на външни прѣдизвиквания, Максимъ забравяше онѣзи могществени побуждения, които бѣха вложени въ дѣтинската душа отъ самата природа.

#### IV.

Нѣкой е казалъ, че очитѣ сж огледало на душата. Може би да е по вѣрно, ако ги сравнимъ съ едни прозорци, прѣзъ които впечатлѣнията на ясноблѣстящия пѣстъръ свѣтъ се вливатъ въ душата. Кой може да каже, каква частъ отъ нашия душевенъ складъ зависи отъ усѣщанието на свѣтлината?

Человѣкъ е само една халка въ безконечната верига отъ жизнени процеси, която се простира прѣзъ него отъ дълбочината на миналото до безкрайното бъдѣще. И ето, че въ една отъ тия халки фаталния случай на слѣпото момче затворилъ тѣзи прозорци. То трѣбва да прѣкара цѣлия животъ въ тъмнина. Но значи ли туй още, че въ неговата душа сж се прѣкъснали за винаги онѣзи струни, съ които человѣшката душа се отзовава на впечатлѣнията на свѣтлината? Не, и прѣзъ туй тъмно сщество трѣбва да се продължи и да се прѣдаде на слѣдующото поколение вътрѣшната въсприемчивостъ къмъ свѣтлината. Неговата душа бѣше цѣла, сжщинска человѣческа душа, съ всичкитѣ ѣ способности, а понеже всѣка способностъ носи съ себе си едно стремлѣние къмъ удовлетворение, то и въ тъмната душа на момчето сжществуваше едно такъво ненаситено стремлѣние къмъ свѣтлината.

Непокътнати лежеха нѣгдѣ въ таинствената, дълбочина полученитѣ по наследство „възможности“, които дрѣмѣха въ едно

неясно съществуване — сили, готови да се повдигнатъ при пръвъ свѣтливъ лъчъ. Но прозорцитѣ си оставахъ затворени; сждбата на момчето бѣше рѣшена: рѣшено му бѣ да не види никога слънчевата свѣтлина, неговия животъ цѣлъ ще прѣмине въ тъмнина!...

Но тази тъмнина бѣше пълна съ призраци.

Ако би животътъ на момчето да прѣминуваше посредъ голѣми нужди и неволи, то може би, туй би отвлѣкло неговата мисль къмъ външнитѣ причини на страданието. Но роднинитѣ му прѣмахнахъ всичко, което можеше да го наскърби. Насташихъ го въ пълно спокойствие и тишина. И самата тишина, която царуваше въ неговата душа, сломагаше на туй, щото вътрешната неудовлетвореностъ да се чувствува по-ясно. Посредъ тишината и мрака, който го обгрѣщаше, се издигаше неясното съзнание, което не замълчаваше, желяйки удовлетворение; яви се стремлѣние да се формируватъ силитѣ, които дрѣмѣхъ въ душата и не намирахъ изходъ

Отъ тукъ се пораждахъ едни неясни прѣдусѣщания и желания, като напр., желанието за хвъркание, което всѣкий въ дѣтинството си е изпитвалъ и което се исказва въ тази възраст въ такива едни чудни сънища.

Отъ тукъ най-послѣ проистичахъ инстинктивнитѣ тѣги и стремлѣния на дѣтинската мисль, които се отразявахъ често на неговото лице въ видъ на болѣзененъ въпросъ

Тѣзи наслѣдствени, но непожтнати въ живота „възможности“ на зрителнитѣ прѣдставления ставахъ, като призраци въ дѣтинската глава, безформени, неясни и тъмни, които прѣдизвиквахъ ония мжчителни и неясни усилия.

Цѣлата природа подигаше безсѣзнателенъ протестъ противъ индивидуалния „случай“ за потѣпкването на общия законъ.

## V.

По такъвъ начинъ, Максимъ колкото и да се стараше да прѣмахне всички вънкашни прѣдизвиквания, никога не можеше да унищожи вътрешния напоръ на неудовлетворената потребностъ. Най-голѣмото нѣщо, което той можеше да постигне съ своето прѣдпазване бѣше да не я повдига *по-рано* отъ опрѣ-

дълелото ѝ време, да не усилива страданията на слѣпото момче. Въ останалото тежката сѣдба трѣбваше да върви по опрѣдѣления си път съ всичкитѣ му лоши и печални послѣдствия.

Тя надвисна на неговата душа, като тъменъ облакъ. Природната пѣргавостъ на момчето заедно съ годинитѣ му все повече и повече се губѣше, подобно на една вълна, която постоянно се намалява, когато пъкъ между туй неясното тъжно негово настроение звучеше постоянно въ неговата душа, усиливаше се, като се отразяваше на неговия темпераментъ. Смѣхътъ, който въ дѣтинството му можеше да се чуе при всѣко ясно ново впечатлѣние, сега се раздаваше все по-редко и по-редко. Всичко радостно, весело, хумористично, бѣше за него почти недостъпно; но за туй пакъ всичко мрачно, неопрѣдѣлено-тъжно и меланхолично, което се чува въ южната природа и се отразява въ народнитѣ нѣсни, то схващаше доста добръ. Сълзи се появяваха въ очитѣ му, когато то слушаше, какъ „въ полѣ могила звѣтромъ говорила“,\*) и то само обичаше да ходи въ полето и да слуша този разговоръ. То все повече и повече кло-нѣше къмъ уединение, и когато самичко отиваше на расходка, домашнитѣ му се стараеха да не отиватъ тамъ, гдѣто то отиваше, за да не побъркатъ на неговото уединение. Като сѣдваше на нѣкоя могила въ степитѣ, или на височинката надъ рѣката, или, най-послѣ, на добръ познатата му скала, то слушаше шумолението на листята, шепота на трѣвата, или неяснитѣ въздишки на степния вѣтъръ. Всичко туй нѣкакъ-ся особено хармонираше съ неговото душевно настроение. До колкото то можеше да разбира природата, тукъ то я разбираше напълно и до край. Тукъ тя не го обезпокояваше съ никакви неопрѣдѣлени и неразрѣшими въпроси; тукъ този вѣтъръ се вливаше направо въ душата му, а трѣвата му шепнѣше тихи съжалителни думи, и когато душата на момчето дохождаше въ унисонъ (съгласие) съ окръжаващата тиха хармония, тя омегкваше отъ топлото милване на природата, и то усѣщаше, че нѣщо се повдига въ гърдитѣ му, като се уголѣмява и се разлива по цѣлото му същество. То падаше тогава на влажната и хладна трѣва и тихичко плачеше, но тѣзи сълзи не бѣха отъ горчевина. По нѣ-

---

\*) Какъ въ полето могилата съ вѣтъра се разговаряше.

кога то взимаше свирката си и съвсѣмъ се забравяше, като избираше замислени мелодии за настроението си и въ съзвучие, въ съгласие съ тихата степна хармония.

Разбира се, че всѣки чововѣчески звукъ, който неочаквано се вмѣкваше въ тази хармония, въ това настроение, дѣйствуваше на него болѣзнено и твърдѣ неприятно. Сдружаванието въ подобни случаи може да стане само съ една твърдѣ близка, приятелска душа, а момчето имаше само единъ такъвъ другаръ по възраст, а именно — руссото момиче отъ посессорския чифликъ...

Тази задружностъ уякваше все повече и повече, като се отличаваше съ пълна взаимностъ. Ако отъ една страна Евелина внасяше въ тѣхната задружностъ спокойствието си, тихата си радостъ и запознаваше момчето съ нови картини отъ околния животъ, то момчето отъ своя страна ѣ даваше... своята неволя. Първото запознавание съ него изглеждаше да е причинило дълбока рана въ сърдцето на малката жена: истеглѣте отъ раната ножа, който ѣ нанесе удара, и отъ нея ще истече кръвъ. Отъ начало, като се запозна на хълма въ степенитѣ съ слѣпото момче, малката жена почувствува едно остро страдание отъ съчувствие, а сега неговото присѣствие ставаше за нея все по-необходимо. При раздѣлата съ него острата болка на тази рана, като че ли отново се отваряше и оживяваше, и тя тичаше при него, щото съ постоянната си грижа къмъ него да умири собственото си страдание.

## VI.

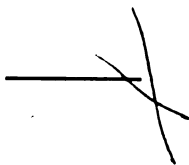
Една вечеръ и двѣтѣ фамилии сѣдѣхъ на чардачето прѣдъ къщата и се наслаждавахъ отъ изгледа на звѣздното небе, което се синѣеше отъ тъмния лазуръ и горѣше отъ запаленитѣ огньове. Слѣпото момче, както винаги сѣдѣше съ своята другарка при майка си.

Всички за малко врѣме бѣхъ замѣлчали. Около чифлика бѣше тихо; само листята отъ врѣме на врѣме, като потрепервахъ, едватъ шепняхъ нѣщо-си неразбрано и тосчасъ пакъ замѣлчавашъ.

Въ туй врѣме единъ метеоръ испъкна отъ дълбочината на тъмния лазуръ, прѣмина свѣтливо по небето и тихичко угасна, като остави отподирѣ си минутна фосфорическа слѣда. Майката, която сѣдѣше до Петърча, почувствува, че той се стресна и затрепера.

- Какво бѣше... туй? обърна се той съ равълнувано лице.
- Една звѣзда падна, миличко.
- Да, звѣзда, рече той замислено, азъ узнахъ.
- Отъ какѣвъ можа да узнаешъ, Петърчо? повторно го попита майка му съ скърбно съмнение въ гласа.
- Не, той вѣрно казва, намѣси се Евелина. — Той много нѣща знае.... „тъй“....

Тази вече достъпчивостъ, която се развиваше все повече и повече, показваше, че момчето се приближава къмъ критическата възраст между дѣтството и юношеството. Но до сега то растѣше утѣрено и спокойно. Виждаше се даже, като че ли то се свиква съ участъта си, и чудноусмирена тѣга, безъ видѣ-лина, но и безъ силни тласъци, която стана единъ характери-стиченъ обѣтъ на неговия животъ, на неговото сѣщество, сега донѣкъ изглеждаше да е омекнала. Но туй утихване бѣше само времененъ периодъ. Тѣзи отпочивки ги дава природата, като че ли нарочно; въ тѣхъ младия организмъ се урежда и чакне за нова буря. Въ врѣме на тѣзи отпочивки незабѣлѣзано се мномратъ и зрѣятъ нови запитвания. Единъ само ударъ — и цѣлото душевно спокойствие се разклаща до дъно, подобно на море, равълнувано отъ ненадѣйно пристигналата силна буря.



## ГЛАВА V.

### I

Тъй се изминаха нѣколко години.

Никаква промѣна не стана въ тихия чифликъ. Както и по-прѣди букитѣ си шумѣха въ градината, само че тѣхнитѣ листа като да бѣха потъмнѣли до нѣкъдѣ; тѣ станаха и по-гъсти; засмѣнитѣ бѣли стѣни, както и по-прѣди, блѣстѣха въ свѣтлината само че тѣ сега бѣха се малко нѣщо понавѣли и искривили; както и по-прѣди сламенитѣ стрѣхи се надвѣсвахъ и даже свирението на Яйкима се чуваше все въ сѣщото врѣме отъ конюшницата, само че сега Яйкимъ — остарѣлъ, съ испоустрени коси ергенинъ — прѣдпочиташе да слуна свирението на слѣпия си господарь, било на свирка, било на фортепиано.

Максимъ побѣлѣ още повече. Въ фамилията на Попелски не се роди друго дѣте и за туй слѣпото момче — първаче, както и по-прѣди, остана като центръ, около който бѣше сгрупиранъ цѣлия животъ въ чифлика. За него чифликътъ се затвори въ своя тѣсенъ кръгъ, като бѣше задоволенъ отъ собствения си тихъ животъ, въ който взимаше участие и не помалко тихия животъ на посессорската „колибка“. По такъвъ начинъ, Петъръ, който бѣше станалъ вече момъкъ, израстна, като цвѣтъ въ оранжерее (зимна градина), запазенъ отъ чуждитѣ остри вѣяния на далечния животъ.

Той, Петъръ, както и по-прѣди, стоеше въ центъра на единъ безкрайно тъменъ свѣтъ. Надъ него, около него, на всѣкъдѣ се распростираше мракъ безъ край и безъ прѣдѣли; деликатната нѣжна организация се подигаше, като силноизпнатата струна, при всѣко впечатлѣние, готова да затрепери съ отговаряющи звукове. Въ настроението на слѣпия ясно се забѣлѣзваше туй очаквание: струваше му се, че този мракъ ще посѣгне къмъ него съ невидимитѣ си рацѣ и ще хване въ него онуй *нѣщо*, което тъй безсилно дрѣме въ душата му и чака пробужданіе.

Но познатата добра и омръзнала тъмнина на чифлика шумѣше само отъ ласкавия шепотъ на старата градина, който

шепотъ навѣваше една неясна, приспивателна и успокоителна мисль. Далечния свѣтъ не проникваше тукъ съ своитѣ остри бурливи струи. Слѣпия знаеше за него само отъ пѣснитѣ, отъ историата. Подъ замисления градински шепотъ, посрѣдъ тихитѣ работни дни, той узнаваше само по разказитѣ за буритѣ и вълненията на далечния животъ. И всиго туй се рисуваше въ неговото въображение като прѣзъ нѣкое вълнебно редко платно, като гѣсенъ, като прѣдание, като приказка.

Струваше се на всички, че тѣй е добръ. Майката виждаше, че душата на нейния синъ, оградена като съ стѣна, дрѣмѣше въ омаянъ полусънъ, искусствень, но спокоенъ. И тя не искаше да наруши туй равновѣсие, боеше се да го наруши.

Евеллина, която израстна и се разви нѣкакъ съвсѣмъ незабѣлѣзано, гледаше на тази магическа тишина съ яснитѣ си очи, въ които можеше да се забѣлѣжи отъ врѣме на врѣме нѣщо като двоумѣние, въпросъ за бѣдѣщето, но никога не се забѣлѣзваше на лицето ѝ нито сѣнка отъ нетърпѣние. Попелски, бащата на слѣпия момъкъ, докара чифлика си въ доста добъръ редъ, но що се отнася до въпроса за бѣдѣщето на сина си, на този добъръ човѣчецъ, нито на умъ му дохождаше такъво нѣщо. Единствения бѣ Максимъ, който споредъ навика си, мѣчно прѣнасяше тази тишина. Той мислѣше, че е необходимо да даде врѣме на душата да си отпочине, да уякне, за да бѣде въ състояние да прѣнесе острото досѣгане на живота.

Между това, тамъ на нѣкъдѣ, задъ прѣдѣла на този магйосанъ кръгъ, животътъ кипи, вълнува се. Ето че най-послѣ дойде врѣмето, когато стария учителъ се рѣши да раскъса този кръгъ, за да може да проникне въ нея прѣсна струя отъ външния въздухъ.

## II.

За прѣвъ пѣтъ той повика при себе си своя старъ приятель, който живѣеше на разстояние 70 километра отъ чифлика на Попелски. Максимъ по-прѣди отиваше понѣкога при него. но сега, като знаеше, че у Ставрученка сѣ на гости пристигналиятъ младежи, написа му писмо и канѣше цѣлата компания. Поканванието бѣше посрѣщнато съ голѣма радостъ. Старцитѣ бѣхж тѣсно свързани поради прѣдшното си приятелство,



а младежитѣ помнѣхъ твърдѣ прославеното нѣкога име на Максима Яценко, съ което бѣхъ свързани извѣстни традиции. Единъ отъ синоветѣ на Ставрученка бѣше студентъ въ Киевския университетъ по филологията, както бѣше тогавашната мода. Другия слѣдваше по музиката въ петербургската консерватория. Съ тѣхъ заедно дойде и единъ младъ юнкеръ, синъ на одного отъ близкитѣ помѣщници (чифликчии).

Ставрученко бѣше ягкъ старикъ, побѣлѣлъ, съ дълги мустаци и обутъ въ широки казашки шалвари. Той носѣше кесия съ тютюнъ и дула свързани за пояса, говорѣше само по малорусски, а заедно съ двамата си синове, облѣчени въ бѣли селски дрѣхы и везени малорусски ризи, доста напомувахе гоголевия Тарасъ Булба съ неговитѣ синове. Обаче, въ него нѣмаше нито капка отъ романтизма, съ който се отличавахе гоголевия герой. Напротивъ, той бѣше отличенъ практикчиflikчия, той бѣше доволенъ отъ крѣпостничеството\*), но сега, когато това „робство“ бѣ унищожено, той пакъ съумѣ да се натъкми и споредъ новитѣ условия. Той добръ познаваше народа, както може да го познава единъ чифликчия, т. е. той знаеше всѣки селенинъ отъ селото си, кравата на всѣкого одного отъ тѣхъ, едва ли не и излишния грошъ въ кесията му.

При всичко, че той не се биеше съ синоветѣ си съ юмруци както Булба, но за туй пъкъ между него и синоветѣ му имаше постоянно доста горещи прѣспирни, които не се прѣкъсваха нито отъ врѣмето, нито отъ мѣстото. На всѣкъдѣ, дома било или на гости, за най-малкото нѣщо избухваха между старика и младежитѣ безкрайни прѣспирни; захвашахе се обикновено съ това, че старикътъ, като се присмиваше на „идеалнитѣ господа“, ги подиграваше; тѣ се разядосваха, старикътъ тѣй сѣщо се ядосваше и тогава се подигахе невъобразима глѣчка, въ която и двѣтѣ страни си наговаряха доста.

Туй бѣше отражение на извѣстното разногласие между „бацитѣ“ и „дѣцата“; само въ югозападния край на Руссия, поради голѣмата меккостъ на нравитѣ, се явяваше туй явление

---

\*) Крѣпостничество — робството на селенитѣ въ Руссия, унищожено въ 1863 г. (Прѣв.)

[illegible]

*[The following text is extremely faint and largely illegible due to poor scan quality. It appears to be a multi-paragraph document.]*

1. В соответствии с требованиями, установленными в пункте 1.1.1. настоящего Положения, в состав комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) должностных лиц органов внутренних дел входят:

точка, при която само сж възможни вѣрни заключения и общи схващания. Тѣ обхващатъ съ единъ само погледъ далечни перспективи тогава, когато старитѣ и заслѣпенитѣ въ рутината на практиката хора не виждатъ гората отъ многото дървета.

На старика не бѣше неприятно да слуша научнитѣ рѣчи на синоветѣ си.

— Вижда се, че не напразно сж се учили въ училището, — казваше той. Но пакъ ще ви кажа, че моя Хведко може и двама ви да води на кадѣто си ще, като телета за оглавника и туй то!... Но мене не ще може. Азъ могъ да го пратя него хубавичко за зеленъ хайверъ, безъ той да се усѣти даже. А вамъ още устата миришатъ на млѣко, за нищо не ви бива!

### III.

Въ тази минута туку що бѣ утихнала една подобна прѣпирня. Старцитѣ отидоха въ стаята и прѣзъ отворенитѣ прозорци се чуваше отъ врѣме на врѣме, какъ Ставрченко трѣжествено разказваше разни комични епизоди, а слушателитѣ весело се смѣеха.

Младото поколение сѣдѣше още въ градината. Студентътъ, като посла горнята си дрѣха и сви агнешката си шапка, се хвърли на трѣвата съ извѣстно тенденциозно нехайство. — Постария братъ сѣдѣше до Евелина. Юнкерътъ, въ акуратно закопченъ мундиръ, сѣдѣше до тѣхъ, а малко по-настрана съ клюмнала глава — слѣпия: той обмислюваше туку що замѣкналитѣ прѣпирни, които дълбоко го развълнувахъ.

— Какво мислитѣ за всичко туй, което говорихме, г-це Евелино? — попита своята съсѣдка младия Ставрченко. — Вие, струва ми се, не продумахте нито дума.

— Всичко туй е доста хубаво, то-есть туй, което вие говорѣхте на баща си. Но...

— Но... Какво?

Момичето не отговори изведнажъ. Тя остави на колѣнитѣ работата си, гладѣше я съ рацѣтѣ си и като си понаведе малко главата, взѣ да я разгледва съ замисленъ видъ. Трудно бѣше да се разбере, да ли мислѣше тя за туй, че трѣбваше да вземе за возение по-едра канва, или пъкъ обсъждаше своя отговоръ.

[illegible]

— Ты — дурачина, что протыкаешь еще да  
иногда и дурака. — Выбор человекъ си има  
и дураковъ и дураковъ.

— А как же, я глядай какво благо-  
получило! Сосуды, востановили, пробезна госпожине?

— Откуда Евалина просто, но въ  
именно-требующе любопытство:  
именно-требующе.

1. 2. 1958 - 2. 1958.

... за възрастта ви, — рече  
... между тринадесетата и  
... по нѣкой път вие се по-  
... път разсѣждавате като

Въ селеніи работи. Газуль Петровичъ, трѣба и  
свѣдѣніе за свѣдѣніями. — Рече младата жена съ важенъ  
тонъ, за тѣхъ работи.

Никому из нас не было втайне известно. Иглата на Евелина  
одного из нас не была, а на других же следовало съ любопытство  
изучать и факты на основании их личность.

## IV.

Жената, действително, бѣше прѣстѣнала и бѣше се развила доста подиръ първата срѣда съ II-гърча; забѣлѣжката на суровица за възрастѣта ѣ бѣше вѣжливѣо сѣравѣдливѣа. На прѣвъ погледѣ тѣй малѣо, момѣчѣо създѣние се показваше, че ѣ още момѣчѣо, но въ нейнатѣ оавѣа, сѣрѣдѣдени движенѣя се виждѣа често икъи сѣаѣдѣността на жена. Тѣй сѣжѣото впечатлѣніѣо пропѣаждѣше и нейното лице. Такива лица се срѣпѣатъ, струни ми се, само у сѣаѣаѣикѣтѣ. Правилни, красиви черти, очерѣани съ пѣаѣни, хѣдѣни линии; сивитѣ очи гледѣтъ еднакѣо,

спокойно; червенина рядко се появява на тѣзи блѣдни бузи, но туй не е онази особена блѣдностъ, която всѣка минута е готова да избухне съ пламенъ отъ гореща страсть, — туй е. може да се каже, по-скоро хладна снѣжна бѣлизнина.

Исчезаната свѣтла коса на Евелина едвамъ се поизвиваше върху мряморно-блѣлитѣ слѣпи очи, и се спущаше изотзадъ въ видъ на една тежка плитка (редица), която чрѣзъ своята тежина като че ли теглѣше при всѣка стѣпка главата ѝ нанаядъ.

Слѣпия тѣй сѣщо бѣше порастналъ и станалъ вече мъжъ. Всѣкой, който би го видѣлъ въ тази минута, когато той сѣдѣше по-отдалеченъ отъ казаната група, блѣденъ, развълнуванъ и красивъ, изведнажъ би заблѣзвалъ неговото съвсѣмъ инакво лице, на което тѣй ясно се отражаваше всѣко душевно движение. Чернитѣ му коси се надвѣсвахъ въ видъ на гиздава вълна надъ испъкналото му чело, по което се заблѣзвахъ още отъ рано бръчки. По лицето му бърже пламваше една гѣста червенина, и пакъ тѣй скоро се замѣняваше отъ една друга мѣтна блѣдностъ. Долната бърна, едвамъ-едвамъ спусната къмъ краищата надолу, отъ врѣме на врѣме потреперваше, а голѣмитѣ му красиви очи, които гледахъ съ еднакъвъ и неподвиженъ погледъ, придавахъ на лицето на младия човѣкъ единъ необикновенъ, мраченъ видъ.

— И тѣй, — засмѣно начена да говори студентътъ подиръ мълчанието, — госпожица Евелина мисли, че всичко, за което ние говорихме, е недостѣпно за женския умъ, че на жената е дадено само да нагледва кухнята и дѣцата.

Въ гласа на младия човѣкъ се заблѣзваше извѣстна ирония; всички замълчахъ за малко врѣме, а на лицето на момичето се появи нервна червенина.

— Вие доста бързаете съ заключенията си, — рече тя. — Азъ разбирамъ всичко, за което тукъ се говори, — слѣдователно, туй е достѣпно за женския умъ. Азъ говорѣхъ лично само за себе си.

Тя замълча и се наведе надъ работата си съ такъво внимание, щото младия човѣкъ не се рѣши да продължава по нататѣкъ да распитва.

— Чудно, — пробърбори той. — Човѣкъ може да помисли, че вие сте си прѣдначертали вече своя пътъ до гроба.

— Какво има пъкъ въ туй нѣщо чудно, Гаврилъ Петровичъ? — тихо му отговори момичето. — Азъ мисля, че дори и Илия Ивановичъ (името на юнкера) е прѣдначерталъ вече своя пътъ, а пъкъ той е по-младъ отъ мене.

— Туй е истина, — рече юнкертъ, доволенъ отъ този комплиментъ. — Азъ не отдавна четохъ биографията на Н. Н. Той тѣй сжщо вървѣлъ по опрѣдѣленъ планъ: на двадесетата си година се оженилъ, а на двадесетъ и третата командовалъ вече едно отдѣление.

Студентътъ ехидно се засмѣ, момичето се исчерви малко.

— Ето на, виждате ли, — рече тя подиръ малко съ единъ студентъ и остръ тонъ, — всѣкой си има свой опрѣдѣленъ пътъ.

Никой не противоречеше повече. Посредъ младата компания се въдвори една сериозна тишина, при която се усѣщаше тѣй ясно едно непонятно стѣснение; всички разбраха, че разговорътъ прѣмина на деликатна, лична почва, че подъ проститѣ думи звѣнгѣше нѣгдѣ деликатно-обтегнатата струна...

Посредъ туй мълчание ясно се чуваше само шума на старата градина, тъмняюща и като че ли недоволна отъ нѣщо.

## V.

Всичкитѣ тѣзи разговори и спорове, тази вълна отъ горещи младенчески запитвания, надежди, очаквания и мнѣния — всичко туй нахлу въ слѣпия неочаквано и шумно. Отъ начало той се услуша въ тѣхъ съ очудено изражение, но скоро забѣлѣза, че тази жива вълна се върти около него, но нѣма нищо общо съ него. Него нито го запитвахъ, нито го питахъ за мнѣнието му и скоро се забѣлѣза, че той стои, като отдѣленъ, въ тѣжно уединение, — толкови по-тѣжно, колкото по-малкъ бѣше сега животътъ въ чифлика.

При все това, той продължаваше да се услушва въ всичко, което за него бѣше ново, а неговитѣ силно събрани вѣжди и поблѣднѣлото му лице показвахъ напрѣгнатото му внимание. Но туй внимание бѣше мрачно и подъ него се криеше тежкото и горчиво работение на неговитѣ мисли.

Майката гледаше наскърбено въ читѣ на сина си. Читѣ на Евелина изражаваха симпатия и безпокойствие. Единъ само

Максимъ, като че не забѣлѣваше, какво дѣйствиѣ произвежда на слѣпния шумното общество, и искрено канѣше гоститѣ да наминватъ по-често кадѣ чифлика, като общавахъ на младежитѣ изобиленъ етнографически материялъ при второто имъ идване.

Гоститѣ се общахъ пакъ да дойдатъ и си тръгнахъ. На прощаванне младежитѣ искрено стискахъ ръката на Петра. Той бързо отговаряше на тия ръкувания и дълго врѣме се услушваше какъ се търкаляхъ колелата на бричката по пътя. Подирѣ той бързо се върна и отиде въ градината.

Слѣдъ отпътуването на гоститѣ въ чифлика всичко утихна, но тази тишина се показва на слѣпния нѣкакъ особена, необикновена и чудна. Въ нея, като че ли се чуваше признанието, че тукъ се е извършило нѣщо особено важно. Въ замълчалитѣ аллеи, които се отзовавахъ само на шепота на букитѣ и на хръсталака, на слѣпния се струваше, че чува отзивитѣ на неотдавнашнитѣ разговори. Той слушаше тѣй сжщо отъ отворения прозорецъ, какъ майка му и Евелина се прѣпирахъ за нѣщо съ Максима въ приемната стая. Въ майчиния гласъ той забѣлѣваше молба и страдание, гласътъ на Евелина звучеше отъ негодование, а Максимъ, тѣй поне се виждаше, ревностно и страстно, но твърдо и енергически отразяваше нападението на женитѣ. Когато се приближаваше Петъръ тѣзи разговори изведнажъ спирахъ.

Максимъ съзнателно, съ немилостива ръка проби стѣнната, която ограждаше до туй врѣме отъ слѣпния свѣтъ. Първата шумна и безпокойна вълна нахлу прѣзъ това отвѣрстие, а душевното равновѣсие на момчето трепна отъ този прѣвъ ударъ.

Сега нему се виждаше вече много тѣсно въ неговия малъкъ кръгъ. Дотегваше му тишината на чифлика, лѣнивия шепотъ и шумъ на старата градина, дотегваше му спокойствието на младенческия душевенъ сънъ. Мракътъ заговори пакъ въ него съ новитѣ си примамливи и ласкателни гласове: примамваше го и привличаше на навънъ въ она свѣтъ, който той не познаваше и който не можеше си прѣдстави.

Той го викаше, примамваше го къмъ себе си, събуждаше дрѣмшицитѣ въ душата му въпроси, и тѣзи първи призовавания се появявахъ на неговото лице въ видъ на блѣдностъ, а въ душата му — въ видъ на тъпо, макаръ и още не ясно страдание.

Тъзи безпокойни признаци не останах незабѣлѣзани отъ женскитѣ очи. Тѣ видѣхъ, че Максимъ тѣй сящо ги забѣлѣзва, но че всичко туй влиза въ кой знае какви планове на старика. И двѣтѣ тѣ считахъ туй за жестокость, и на майката много се искаше съ собственитѣ си рѣцѣ да ограда, да запази сина си отъ вѣенията на живота, които го безпокояхъ и вълнувахъ. „Оранжерея?“ — но какво има най послѣ, когато на момчето до сега му е било добръ въ оранжереята? Нека бѣде тѣй и за напрѣдъ. Евелина не искаваше, както се виждаше, всичко, което ѝ тежеше на душата, но отъ нѣкое врѣме насамъ тя въѣ да отговаря на нѣкои по нѣкога съвсѣмъ маловажни прѣдложения на Максима съ една нечувана острота.

Старикътъ я гледаше изъ подъ вѣжди съ испытателни очи, които се срѣщахъ по нѣкога съ гнѣвния, искромѣтенъ погледъ на младото момиче. Максимъ поклатваше главата си, пробърборваше нѣщо и се обграждаше съ гѣсти калба отъ димъ, което бѣше знакъ, че той усилено мисли; но той твърдо стоеше на своето си и по нѣкога безъ да се обръща къмъ нѣкого, изпускаше прѣзрителни сентенции относително неразбраната женска любовъ и плиткия женски умъ, който, както е извѣстно, е значително по-късъ отъ косата имъ, за туй жената не може да види по-далече отъ минутното страдание и минутната радостъ.

— Квачка! — казваше по нѣкога той на сестра си, като тропаше сърдито по стаята съ патерицитѣ си, но той редко се сърдѣше; повечето пѣти на доводитѣ на сестра си отговаряше меко и съ снисходително съжаление, толкози повече, че тя всѣки пѣтъ отстъпваше отъ прѣпирнята, когато оставаше самичка съ брата си; туй, обаче, не ѝ бъркаше пакъ на скоро да почне разговора. Но когато при туй присѣтствуваше и Евелина, работата ставаше по-сериозна; въ такива случаи старикътъ повече обичаше да прѣмѣтлчава. Изглеждаше като да се захваща между него и младото момиче нѣкаква борба, и тѣ и двамата още само изучавахъ противника си, като скривахъ внимателно своитѣ карти.

## VI.

Когато подиръ двѣ недѣли младитѣ хора пакъ дойдохъ заедно съ баща си, Евелина ги посрѣщна съ студена сдържа-



ностъ. Обаче, трудно ѝ бѣше да устои срѣщу омаятелното младенческо оживление. Тѣ се скитахъ по цѣли дни изъ селото, ходѣхъ на ловъ, записвахъ по нивитѣ пѣсни отъ жетваритѣ и жетваркитѣ, а привечеръ всичката компания се събираше въ градината прѣдъ къщата.

Една вечеръ, когато Евелина никакъ не очакваше това, разговорътъ прѣмина пакъ на сѣщата деликатна тема. Какъ стана туй, кой почна пръвъ, нито тя, нито пъкъ нѣкой отъ другитѣ можеше да каже. Туй стана тѣй незабѣлѣзано, както и незабѣлѣзано угасна дневната свѣтина и както въ градината се разпрѣснахъ вечернитѣ сенки, както и славѣя незабѣлѣзано почна въ леса своята вечерна пѣсенъ.

Младия човѣкъ говорѣше распалено и съ една особена, младежка страсть, която се втурга безмислено и безразсудно срѣщу неизвѣстното бѣдѣще, съ гордѣливо прѣдизвикване. Въ тази увѣреностъ и въ тази страсть имаше една особена, очарователна сила, която изглеждаше, че е способна да стѣпи въ каквато и да е борба безъ никакво колебание.

Младото момиче пламна, като разбра, че това прѣдизвикване, може би безсѣзнателно, да е отправено тъкмо къмъ нея.

Тя слушаше, като се бѣше ниско навѣла надъ работата си. Очитѣ ѝ блѣстяхъ, лицето ѝ пламна отъ червенина, сърдцето ѝ силно тупаше... Подирѣ блѣсъкътъ въ очитѣ изгасна, лицето ѝ поблѣдни, бърнитѣ ѝ се свихъ, а сърдцето ѝ затупа още по-силно, и на лицето ѝ се появи едно изражение на уплашване...

Тя се уплаши, защото подъ влиянието на младенческитѣ думи на студента прѣдъ очитѣ ѝ като да се махна изведнажъ тъмната стѣна, и прѣдъ нея блѣснахъ далечнитѣ перспективи на огромния шуменъ и дѣятеленъ свѣтъ.

Да, той я примамва още отдавна. Тя не съзнаваше туй по-рано, но подъ сѣнкитѣ на старата градина, на уединената скамейка, тя често пати сѣдѣше по цѣли часове, прѣдадена на непостижими мечти. Въображението ѝ рисуваше свѣтли, далечни картини и въ тѣхъ нѣмаше мѣсто за слѣпия...

Сега този свѣтъ се доближи до нея; но не я прѣлѣгва само, ами прѣтендира за нѣкакви-си права.

Тя погледна бързо към страната на Петра и нѣщо я бодна въ сърдцето. Той сѣдѣше неподвиженъ, замисленъ; цѣлата му фигура се виждаше нѣкакъ притѣснена и туй се запечати въ нейната паметъ като тъмно пятно. „Той разбира... всичко“, — мина ѝ прѣвъ ума тази мисль, бърза като свѣт-кавица и момичето почувствува трѣпки по тѣлото си. Крѣвта прѣлѣ въ сърдцето ѝ, а на лицето си тя сама усѣти една ненадѣйна блѣдностъ. Стори ѝ се, че тя е тамъ, въ този далеченъ, шуменъ свѣтъ, а той сѣди, ето на, тукъ самичкъ, съ увиснала глава, или не... той сѣди тамъ, на хълма, надъ рѣкичката, то, слѣпото момченце, надъ което тя бѣше плакала въ онази вечеръ...

Тя се уплаши. Стори ѝ се, че нѣкой се готви да истрѣгне ножа отъ отдавнашната ѝ рана...

Тя си припомни продължителнитѣ погледи на Максима. Ето що означавашъ тия мълчаливи погледи! Той по-добръ отъ нея знаеше настроението ѝ, той позна, че въ нейното сърдце е възможна още борба и изборъ, че тя не е увѣрена въ себе си... Но не, — той се лъже. Тя знае първата си крачка, подирѣ тя ще види, що още може да се вземе, да се добие (съ борба) отъ живота...

Тя почна да диша мѣчно и тежко, като да поемаше ди-ханието си слѣдъ нѣкоя тежка работа, и се огледа на около си. Тя не би могла да каже: дълго ли врѣме трая мълчанието, отдавна ли замлъча студентътъ, говорилъ ли е той още нѣщо... Тя погледна на онуй мѣсто, гдѣто прѣди сѣдѣше Петръ.

Него го нѣмаше вече тамъ.

## VII.

Тогавъ, спокойно, като остави работата си, тя стана.

— Извинѣте, господа, — рече тя, като се обърна къмъ гоститѣ. — Азъ за малко врѣме трѣбва да ви оставя самички.

И тя потегли на долу изъ тъмната аллея.

Тази вечеръ бѣше безпокойна и развълнувана не само за Евелина. При една напрѣчна уличка на аллеята, гдѣто стоеше една скамейка, момичето дочу развълнувани и възбудени гла-сове. Максимъ се разговаряше съ сестра си.

— Да, въ този случай азъ съмъ, мислихъ за нея не малко, отколкото за него — говорѣше строго старикътъ. — Не дѣй забравя, че тя е още дѣте, което не отбира отъ живота! Менѣ не ми се ще да вѣрвамъ, че ти ще поискашъ да се възползувашъ отъ незнанието на едно дѣте.

Въ гласа на Анна Михайлова, когато тя отговаряше, се усѣщаха насила задържани съзвѣи.

— А какво мислишъ, Максиме, ако . . . ако тя . . . Какво ще стане тогава съ момчето ми?

— Каквото ще, нека става! — енергически и навхсено отговори стария солдатинъ. — Тогавъ ще размислимъ за туй. Но въ всѣки случай, не трѣбва да утегчаваме съвѣстта му съ вината, че е развалилъ единъ чуждъ животъ . . . Пъкъ и нашата съвѣстъ тѣй сжщо . . . размисли за туй, Анно, при-тури той по-мекко.

Старикътъ взѣ ржката на сестра си и я цѣлуна. Анна Михайлова си наведе главата.

— Ахъ! бѣдно мое дѣтенце . . .

Момчето по-скоро улочи тѣзи думи отколкото ги чу: тѣй тихо излѣзна отъ майчинитѣ уста тази въдишка.

Една червенина облѣ лицето на Евелина. Тя безъ да иска се спрѣ при завоя на аллеята . . . Сега, като се покаже тя, тѣ и двамата ще ѝ съзржтъ и ще се усѣтятъ, че е подслушвала тайнитѣ имъ мисли . . .

Но подиръ малко тя гордѣливо си издигна главата. Тя не искаше да подслушва, и, въ всѣки случай, не може лъжливъ срамъ да я спрѣ на пътя ѝ. При туй, този старикъ прѣмно се нагърбува. Тя самичка ще съумѣе да се распореди съ своя животъ.

Тя зави въ пѣтечката и прѣмина съ исправена глава покрай двамата, които спокойно продължаваха да си говоржтъ.

Максимъ безъ да иска поприбра патерицата си, за да стори пѣтъ, а Анна Михайлова гледаше на нея съ извѣстно изражение отъ потисната, безкрайна любовъ, почти съ обожаване и страхъ.

Майката, като да почувствува, че тази гордѣлива русса мома която туку що замина съ такъвъ прѣдизвикателенъ видъ, носи съ себе си щастieto или нещастieto на нейния симъ.

## VIII.

Въ градината имаше една стара напусната воденица. Колелата ѝ отдавна бѣхъ прѣстанали да се въртятъ, валоветѣ ѝ бѣхъ обрасли съ мяхъ, а прѣзъ старитѣ улеи се прѣпѣждаше водата въ видъ на тънки, постоянно звѣнящи струички. Тукъ той прѣстояване по цѣли часове, услужваше се въ говора на водата, която полека се прѣцеждаше, и умѣеше доста искусно да прѣдава на фортепиано този говоръ. Но той сега не мислѣше за това... Сега той бързо се расхождаше по пѣтекката съ огорчено сърдце, съ лице искривено отъ вършината болка.

Но щомъ като дочу легкитѣ стѣпки на момичето, той се спрѣ; Евелина си турна ржката на рамото му и го попита сериозно:

— Кажи ми, Петре, какво ти е? Защо си такъвъ нажаленъ?

Той, като се обърна бързо, завървя повторно назадъ и напрѣдъ по пѣтекката. Момичето вървѣше до него.

Тя разбра острото му движение и неговото мълчание, и за туй си наведе главата. Отъ чифлика се чуваше една пѣсенъ. Единъ младъ и силенъ гласъ, смекченъ отъ разстоянието, пѣеше за любовъ и щастие, и тѣзи звукове се носѣхъ прѣзъ нощната тишина, като заглушавахъ лѣнивия градински шепотъ...

Тамъ имаше щастливи хора, които говорѣхъ за ясения и свѣтълъ животъ въсредъ който се намирахъ; тя прѣди нѣколко минути бѣше съ тѣхъ, омаяна отъ мечтитѣ на тоя животъ, въ който за него нѣмаше мѣсто. Тя даже не забѣлѣа тогава неговото изчезване и Богъ знае, колко дълги ще да му сж се сторили на самѣ тѣзи мжчителни минути...

Тѣзи мисли прѣминавахъ прѣзъ главата на младото момиче, като вървѣше до Петра по аллеята. Никога до сега не ѝ е било тѣй мжчно да захване приказка съ него, да узнае неговото настроение. Обаче, тя чувствуваше, че нейното присъствие малко по малко умекчава неговото мрачно настроение.

Дѣйствително, вървежътъ му стана по-тихъ, лицето — по спокойно. Той слушаше на близо нейнитѣ стѣпки, и малко по малко острата му душевна болка утихваше, като отстъпваше

мѣсто на едно друго чувство. Той не мислѣше за причинитѣ и сѣтнинитѣ на туй чувство, но то му бѣше познато, и той лесно се подчиняваше на приятното му влияние.

— Що ти е? — повторно го попита тя.

— Нищо особено — отговори той наскръбено.

— Струва ми се само, че азъ съмъ излишенъ на този свѣтъ.

Песенъта отъ кждѣ къщи тъкмо бѣше спрѣла и подирѣ една минута се запѣ друга. Тя едвамъ се чуваше; младия човѣкъ пѣеше една стара „думка“ (елегия), като се стараеше да подражава на тихата мелодия на бандуриститѣ. Понѣкога, се струваше, че гласътъ съвсѣмъ прѣстава, настѣпваше врѣме за размисляние, неясни мечти обхващахъ въображението и послѣ това тихата мелодия пакъ прѣкъсваше шума на листата и тишината на настѣпвающата нощъ....

Младия човѣкъ безъ да ще, се спрѣ, и се услушваше.

— Знаешъ ли, — рече той тѣжно. — Струва ми се по-нѣкога, че старитѣ иматъ право, когато казватъ, че свѣтътъ отъ година на година става по-лошъ. Въ миналитѣ врѣмена е било по-добрѣ даже и за слѣпитѣ. Намѣсто на фортепиано, тогава се бихъ научилъ да свирѣхъ на бандура и бихъ ходилъ по градищата и селата... При мене щѣхъ да идватъ цѣли тѣлпи отъ хора, а азъ ще имъ пѣехъ за дѣлата на тѣхнитѣ бащи и дѣди, за тѣхнитѣ подвизи и слава. Тогава и азъ щѣхъ да бѣда нѣщо въ свѣта, живота ми щѣше да има нѣкаква цѣль. А сега... Дори и онуй хлапе, юнкерчето, съ такъвъ острѣ езикъ, и то дори — ти го чу, нали? — иска да се жени и да командува полкъ. Присмѣхъ му се, — а азъ... за мене и това дори е непостижимо.

Синитѣ очи на момичето се разтвориохъ отъ страхъ и въ тѣхъ блѣсна една сълза.

— Туй е то, ти се надѣха отъ думитѣ на студента, — каза му тя развълнувана, като се стараеше да придаде на гласа си насмѣшливъ тонъ.

— Да, — замислено отговори Петръ. — Ама какъвъ е той... така добъръ... така прѣкрасенъ... той има единъ приятенъ гласъ.

— Да, прѣкрасенъ човѣкъ, — замислено и дори съ нѣжностъ потвърди Евелина, но изведнажъ, като да се свърѣ,

като да иска да се поправи, рече нѣкакъ възбудено: не, той съвсѣмъ не ми се харесва! Той е прѣимно самонадѣянъ, а гласътъ му е неприятенъ и дрѣзгавъ.

Той съ очудване изслуша това гнѣвно кипване. Евелина тупна съ кракъ и възъ да продължава:

— И всичкитѣ тѣзи нѣща сж глупости! Всичко туй, азъ знамъ, Максимъ го е измислилъ. Ахъ, колко го ненавиждамъ сега азъ, този старикъ!

— Що говоришъ, Евелино? — попита слѣпия. — Отъ гдѣ на кждѣ е виноватъ тукъ Максимъ?

— О, той тѣй сжщо се мисли за уменъ и „полезенъ“ и за туй съ своитѣ постоянни смѣтки той успѣ да унищожи въ себе си всѣкакъвъ признакъ отъ сърдечность, която още притѣжаваше... Не ми приказвай, не ми приказвай за тѣхъ вече... Па отъ гдѣ до гдѣ тѣ си присвоихъ правото да се распореджатъ съ чужда сждба?

Тя изведнажъ застана, стисна си ржцѣтѣ тѣй, щото прѣститѣ ѝ испръпѣхъ и нѣкакъ по дѣтински заплака.

Слѣпия очуденъ и съ състрадание я улови за ржката. Това избухване отъ страна на всѣкога спокойното и въздържано момиче бѣше му доста неочаквано и необяснимо. Той се услужваше ту къмъ нейния плачъ, ту къмъ онуй необикновено ехо, съ което се отзоваваше този плачъ въ неговото сърдце...

Но изъ единъ пхтъ тя истъргна ржката си отъ неговата и слѣпия остана повторно смаянъ: момичето се смѣеше.

— Каква съмъ, наистина, глупава! А защо ли нѣкъ плачъ?

Тя отри сълзитѣ си и подирѣ почна да говори съ нажаленъ и добъръ гласъ:

— Не, трѣбва да бждъ справедлива: тѣ и двамата си сж добри, честни хора. А и туй, което той говорѣше прѣди малко, е добро, но не се отнася до всички.

— До всички, които могатъ, — рече тихо слѣпия.

— Какви глупости! — отговори тя ясно, макаръ въ нейния гласъ и да се чувахъ наедно съ усмивката още и неотдавнашнитѣ сълзи. — Ето най-послѣ и Максимъ се е борилъ до когато можалъ, а сега живѣе, както може. Е и ние...

— Не казвай: *ние*! Ти си съвсѣмъ друго нѣщо!..

— Ни най-малко!

— Какъ тъй? Защо?

— За туй, че... да, за туй, защото най-послѣ ти ще се оженишъ за мене, и, значи, нашата сѣдба ще бѣде еднаква.

Слѣпия остана смаянъ.

— Азъ?... за тебе?... Значи, ти искашъ за мене... да се омъжишъ?

— Е, да, да, разбира се! — прѣсече го тя съ развълнуванъ тонъ. — Колко си глупавичкѣ? Нимá никога не ти е идвало туй нѣщо въ главата? Туй е най-послѣ толкова просто! За коя ще се оженишъ, ако не за мене?

— Разбира се, — потвърди той съ необикновенъ егоизмъ, но изведнажъ се подсѣти и се поправи:

— Слушай ме, Евелинке: — захвана той, като я хвана за ржката. — Тамъ говорѣхъ тъкмо, че въ голѣмитѣ градища момичетата се учятъ на всичко, и прѣдъ тебе тъй сѣщо може да се открие единъ широкъ и хубавъ пътъ... А азъ...

— Какво, ти?

— А азъ съмъ... слѣпъ! — свърши той нелогически.

Момичето се усмихна, но продължаваше да говори все съ сѣщия тонъ.

— Та какво има, че си билъ слѣпъ? Нали щомъ едно момиче се влюби въ нѣкой слѣпъ, трѣбва, разбира се, да се омъжи за него... Туй нали винаги тъй става, що можемъ да направимъ? Можемъ ли въ нѣщо го промѣни?

Той тъй сѣщо се усмихна и си наведе главата, като да се услунваше въ онуй, което ставаше въ неговата душа. Наоколо бѣше тихо; само водата приказваше нѣщо-си, като шуртѣше и плѣскаше. Отъ врѣме на врѣме, струва ти се, че този разговоръ почва да ослабва и че даже ще прѣстане, но въ сѣщия часъ той се пояздигваше и повторно извѣнтѣше непрѣкъснато и безъ да свърши. Гжсталака отъ храстѣ шумѣше съ тъмнитѣ си листа; пѣсенъта въ кѣщи утихна, но за туй пѣкъ надъ езерото славѣя захвана своята...

Съ този смѣлъ, неочакванъ, макаръ и мекъ ударъ момичето распрѣсна тъмния облакъ, който бѣше надвисналъ надъ сърдцето на слѣпия. Едно неопрѣдѣлено чувство, което не се знае кога се е възбудило, се бѣше отдавна вече заселило въ него спокойно, безъ да си даде и той даже за него смѣтка,

сега изведнажъ това чувство стана ясно въ неговото съзнание, усили се и моментално изпълни всичкитѣ краища на неговото сърдце. Какъ е станало туй така, че той не се усѣти за туй отъ по-рано?

Той стоя нѣколко врѣме неподвиженъ, подиръ това по-вдигна главата си, затресе коситѣ си и силно стисна малката ѝ ржичка въ своята. Чудно му се виждаше, че нейното меко отъ нейна страна стискание ржката му не приличаше сега на прѣдишнитѣ: слабото движение на малкитѣ ѝ прѣсти се отражаваше сега въ дълбочината на неговото сърдце. Въобще, той виждаше въ своята прѣдишна Евелина, другарката на неговата младостъ, сега нѣкакво друго, ново сѣщество.

Той си науми за нейнитѣ тъкмо що пролѣти сълзи, и при това се показва самичкъ на себе си така могъщъ и силенъ, когато тя му се прѣдстави плачуща и слаба. Тогава, подъ влиянието на дълбоката нѣжностъ, той я приближи съ едната си ржа до себе си, а съ другата възъ да глади копrienитѣ ѝ коси.

Струваше му се, че всичката негова горчива неволя за-гльхна въ дълбочината на сърдцето му и че той нѣма вече никакви стрѣмльния и желання, и само настоящето изглеждаше за него да сѣществува.

Славей, който опитваше нѣколко врѣме гласа си, зачуролика и запѣ изъ тишината на дрѣмлящата градина, която я изпълваше съ неисчерпаемитѣ мелодически извивки на гласа си. Момичето трѣпна и свѣнливо отстрани ржката на Петра.

— Е, стига, драгий мой, — рече му тя, като се избави отъ неговитѣ прѣгърдки.

Той не се противѣше и, като я отпусна, дишаше вече съ пълни гърди. Той чуваше, какъ тя си оправяше коситѣ. Сърдцето му тупаше силно, но еднакво и така приятно; той чувствуваше, какъ горещата му кръвъ разнася по тѣлото му нѣкаква нова концентрирана сила. Когато подиръ една минута тя му каза съ обикновения си тонъ: „Ела, хайде да се върнемъ назадъ при гоститѣ“, той съ радостно очудвание се услухваше въ този умилненъ гласъ, който му звучеше нѣкакъ-си така ново, мило и мелодично.



## IX.

Гоститѣ и домашнитѣ се бѣхъ събрали въ приемната стая; липсуваше само слѣпия и Евелина. Максимъ се разговаряше съ стария си приятель, младитѣ хора сѣдѣхъ мълчаливо при отворенитѣ прозорци; въ малкото събрание царуваше онуй особено тихо настроение, въ дълбочината на което се усѣща известна, не за всички ясна, но отъ всички съзнавана драма. Максимъ въ врѣме на разговора си често поглеждаше къмъ вратата. Госпожа Попелска съ тажно и като че ли виновато лице се виждаше, че явно се старае, прѣсплва се да бѣде внимателна и учтива домакинка спрямо гоститѣ си, и само господинъ Попелски, който бѣше доволно затлѣстѣлъ и, както винаги, добродушенъ, дрѣмѣше облегнатъ на стола си, като очакваше вечерята.

Когато по террасата, която водѣше отъ градината въ приемната стая, се зачухъ стѣпки, всички си обърнахъ погледитѣ нататѣкъ. Въ тъмния четиригълникъ на широката врата се показва фигурата на Евелина, а подиръ нея тихо се искаваше по стълбитѣ слѣпия.

Младото момиче усѣти внимателнитѣ погледи, които бѣхъ устремени къмъ нея; обаче, туѣ не я смути. Тя прѣмина прѣзъ стаята съ обикновения си равномѣренъ вървежъ, само, като срѣщна за единъ мигъ краткия изъ-подъ вѣждитѣ погледъ на Максима, тя едвамъ-едвамъ се поусмихна, и въ очитѣ ѣ блѣснахъ ликувание, прѣдивиквателство и подигравка. Максимъ се позамисли и не свързано отговори на въпроса, който му бѣше зададенъ. Госпожа Попелска поглеждаше въ сина си.

Младия човѣкъ изглеждаше, че върви подиръ момичето безъ да съзнава, на кадѣ го води тя. Когато на вратата се показва неговото блѣдно лице и тънката му фигура, той изведнажъ се спрѣ на прага на освѣтената и многолюдна стая. Той се двоумѣше. Но подирѣ той прѣскочи прага и бърже, макаръ все съ сѣщия полурасѣянъ, полусърѣдоточенъ видъ, се приближи до фортепианото и повдигна капака му.

Както се виждаше, той сега бѣше забравилъ, гдѣ се намира, забрави, че въ стаята има чужди хора, и инстинктивно се стрѣмѣше къмъ любимия си инструментъ, за да даде исходъ на чувствата, които го бѣхъ обладали.

Като отвори капака, той полегка се допрѣ до клавишитѣ и прѣмина по тѣхъ съ нѣколко бързи и лежки аккорди. Виждаше се, че той запитва за нѣщо отчасти инструмента, отчасти собственото си настроение.

Подирѣ това той, като разтвори рацѣтъ си надъ клавишитѣ, дълбоко се замисли, а въ малката стая се въдвори голѣма тишина.

Нощта поглеждаше прѣзъ чернитѣ отвѣрстия на прозорцитѣ; тукъ-тамъ съ любопитство назѣртахъ зеленитѣ групи отъ лѣта, освѣтени отъ свѣтлината на лампата. Гоститѣ, подготвени отъ туку що прѣстаналото неясно дръкание на пианото, отчасти обвзети отъ вѣянieto на онова необикновено вдъхвание, което царуваше върху блѣдното лице на слѣпния, сѣдѣхъ въ мълчаливо очаквание...

А Петъръ все още мълчеше, като си бѣше повдигналъ слѣпитѣ очи на горѣ и все като че ли се заслушваше въ нѣщо. Въ душата му се повдигахъ, като разлюлѣни вълни, най-разнообразни чувства. Приливътъ отъ оня незнаенъ животъ го подхващаше, както подхваща вълната дълго врѣме и мирно стоящата на морския брѣгъ ладия... По лицето му се съглеждаше удивление, въпросъ и още нѣкакво особено възбуждение прѣминаваше по него въ видъ на бързи сѣнки. Слѣпитѣ очи се распиривахъ, блѣствахъ и повторно гаснѣхъ.

За минута би помислилъ човѣкъ, че той не намира въ душата си туй, къмъ което се заслушва съ такъво жедно внимание. Но подирѣ това, макаръ все съ сѣщия очуденъ видъ и все като че ли е недочакалъ нѣщо, той потрепера, допрѣ се до клавишитѣ и обхванатъ отъ нова вълна на чувството, която силно го залавяше, той цѣлиничкътъ се прѣдаваше на звучнитѣ и гладки, треперящи, звѣнтящи, пѣющи, ласкающи и заплашвающи аккорди...

## Ж.

Тукъ се намираше всичко, което се бѣше набрало въ неговото въспоминание, когато той, прѣди една минута, мълчейки и съ наведена глава, се бѣше заслушалъ въ впечатлѣнията отъ прѣживѣното минало. Тукъ се намирахъ гласовѣтъ на природата, шумътъ на вѣтъра, шепотътъ на лѣса, плѣсъкътъ на рѣката

и онзи неясенъ, тайнственъ говоръ, който замлъква въ неизвѣстна безгранична далечина. Всичко туй се заплиташе и звънтѣше въ основата на онуй особено, дълбоко и разширяюще сърдцето ни чувство, което се повдига, което произлиза въ душата отъ тайнствения говоръ на природата и на което е тъй мъчно да се намѣри сжщинското опрѣдѣление, сжщинското име . . . тяга? . . . Но защо е тя тъй приятна? . . . Радостъ? . . . Но защо е тя тъй дълбоко, тъй безкрайно скърбна?

Всичко туй звучеше изъ подъ рждѣтъ на момчето отъ начало тихо, неувѣрено, неопрѣдѣлено. Струваше се, че въображението на музиканта се стреми да се повдигне надъ хаотическия напливъ отъ впечатлѣнията, но неможе. Мощнитѣ, но раздѣлени, силнитѣ, но неопрѣдѣлени и за туй мъчителни за душата вѣяния на силната и безучастна природа владѣхъ напълно музиканта, но той тѣхъ не владѣше.

Отъ врѣме на врѣме звуковетѣ се усиляхъ, издигахъ се, ягнѣхъ. Струва ти се тогава, че той съ нѣколко удари ще успѣе да ги слѣе въ единъ съразмѣренъ потокъ на мощна и прѣлестна хармония, и въ такива минути слушателитѣ прѣмирахъ отъ очаквание, а Максимъ се чудѣше, откъдѣ се появи въ слѣпия тази небивала до сега пълнота на усѣщанията. Но този потокъ, не успѣлъ още да се повдигне, падане изведнажъ съ единъ жалостенъ шумъ, подобно на вълна, която се разбива на пѣна и капки, и дълго врѣме звучехъ отъ подъ него изгубвайки се нотитѣ на скърбното, горчиво недоумѣние и на въпроса.

Слѣпия за малко врѣме спираше, и тогава въ стаята повторно се възцаряваше тишината, която се нарушаваше само отъ шепненieto на листата въ градината. Омайванието, което обхващаше слушателитѣ и което ги прѣнасяше далече задъ тѣзи скромни и мирни стѣни, се срутяваше, изчезваше, и малката стая се въртѣше на около имъ, а нощта гледаше къмъ тѣхъ презъ тъмнитѣ прозорци, до като музикантътъ, като си отпочинеше, повторно не удряше по клавишитѣ на инструмента.

И пакъ звуковетѣ ягнѣхъ и търсѣхъ нѣщо, като се издигахъ до своята пълнота, по-високо и по-силно . . . Въ неопрѣдѣленото звънтие, бучение и говоръ на аккордитѣ се впитяхъ чудни мелодии отъ народнитѣ пѣсни, които звучехъ

ту любовно и тъжно, ту съ въспоминание за миналитѣ страдания и слава, ту съ младежската дързостъ на веселостта и надеждата. Това произлизаше отъ туй, че слѣпия се опитваше да излѣе чувството си въ готови и добръ познати форми.

Но и пѣсенята утихваше, треперейки въ тишината на стаята съ онази сжщата жалостна нота на неразрѣшения въпросъ.

За трети пѣтъ, той се спрѣ, и то върху една пиеса, която бѣше изучилъ едно врѣме по ноти... може би, той се надеваше да докара новото си *лично* чувство въ хармония съ личното творчество на музикалния си гений...

## XI.

Доста трудно е на единъ слѣпъ да се научи да свири по ноти. Тѣ сж отпечатани, както и буквитѣ релефно, при туй тоноветѣ се отбѣлѣзватъ съ отдѣлни знаци и се турятъ на единъ редъ, както и писменитѣ редове на книгата. За да се означи, че тоноветѣ сж въ аккордъ, помежду имъ се поставятъ удивителни знакове. Разбира се, че слѣпия трѣбва да ги изучава на изустъ. при това за всѣка ржка отдѣлно. Поради това туй е доста сложна и трудна работа; обаче, на Петра въ този случай доста му помогна обичѣта къмъ отдѣлнитѣ съставни части на това занятие. Като изучаваше на изустъ по нѣколко аккорди за всѣка ржка, той сѣдаше при фортепианото, и когато отъ съединението на тѣзи испъкнали йероглифи изведнажъ, неочаквано и за самия него, излизахъ хармонични консонанси (съзвучия), туй му докарваше такъво наслаждение и прѣдставляваше за него такъвъ живъ интересъ, щото съ туй сухото занятие се украсяваше и дори го увеличаше.

Обаче, между изобразената на книга пиеса и нейното изпълнение влизахъ въ този случай твърдѣ много промежутъчни процеси. Знакътъ за да се прѣобрази въ мелодия, трѣбваше да мине прѣзъ ржката, да се закрѣпи въ паметѣта и подирѣ да извърши обратно сжщия пѣтъ къмъ краищата на прѣститѣ, които свирѣхъ. При това силно развитото музикално въображение на слѣпия, което успѣ да приеме съвсѣмъ оригинални форми, се намѣсваше въ сложната работа при изучаванието и придаваше на чуждата пиеса единъ особенъ индивидуаленъ отпечатъкъ, който добръ се забѣлѣзваше. Формитѣ, които успѣ

да приеме музикалното чувство на Петра, бѣхж именно тѣзи, въ ко то за прѣвъ пѣтъ му биде показана мелодията, въ каквито се изрази отподирѣ свирението на майка му. Тѣ бѣхж форми изъ народната музика, които постоянно звучехж въ неговата душа, въ каквито форми отечествената природа говорѣше на тази душа.

А и сега, когато той свирѣше тази пиеса съ треперящо сърдце и прѣпълнена душа, въ свирението му още отъ самото начало се забѣлѣзваше нѣщо до тамъ ясно, живо и, въ сжщото врѣме, оригинално, щото по лицата на слушателитѣ изражението на екстаза, дълго врѣме се смѣсваше съ изражението на очудване. При все това, обаче, подирѣ нѣколко минути обаянието отново обхвана всички безъ разлика и само по-стария отъ синоветѣ на Ставрученка, музикантѣ по професия, дълго врѣме още се услушваше въ свирението, като се стараеше да схване познатата нему пиеса и като анализирваше оригиналния „маниеръ“ на пианиста.

Музиката стои вѣнъ отъ партиитѣ, вѣнъ отъ разнитѣ стѣлкновения на мнѣнията. Очитѣ на младежитѣ силно блѣщѣхж, лицата имъ пламтѣхж, въ главитѣ имъ се пораждахж смѣли мисли за единъ непознатъ животъ и щастие. Тѣй сжщо и очитѣ на стария скептикъ горѣхж отъ въодушевление. Отъ начало старецтѣ Ставрученко сѣдѣше съ наведена глава и мълчишкомъ слушаше, но подирѣ почна все повече и повече да се въодушевява, побутваше Максима съ лакътъ си и му шепнѣше:

— Ето на, що се казва свирение, неможе да му се откаже... отлично... Бога-ми!... отлично.

Въ туй врѣме, когато звуковетѣ растѣхж, той взѣ да си спомнюва за нѣщо, навѣрно, за младостта си, защото очитѣ му захващяхж да испускатъ искри, лицето му почервенѣ, цѣлъ той се исправи и, като си издигна ржката, искаше даже да удари съ юмрукъ по масата, но се удържа и отпусна ржката си безъ никакъвъ шумъ. Като погледна синоветѣ си съ бързъ погледъ, той позасука мустацитѣ си и, като се наведе къмъ Максима, пришепна му:

— Искатъ да махнатъ на страна старцитѣ... Лъжятъ!.. На врѣмето си и ние съ тебъ, братко, тѣй сжщо... Накъ и сега още... Право ли казвамъ или не?

Анна Михайлова въпросително поглеждаше Евелина. Момичето бѣше оставило работата на колѣнитѣ си и гледаше въ слѣпия художникъ, а въ синитѣ ѝ очи съглеждаше се само едно възхитено внимание. Тя схващаше тѣзи тонове по своему: тя чуваше въ нихъ звънтението на водата въ старитѣ улеи и шепота на гѣстака въ потъмнѣлата аллея.

## ХП.

Но по лицето на слѣпия не се забѣлѣваше никакъвъ въсторгъ, какъвто бѣше обхваналъ неговитѣ слушатели. На видъ и послѣдната пиеса не го удовлетвори тѣй, както той искаше. Финалнитѣ (послѣднитѣ) тонове трепнахъ, както и по-прѣди, съ неясенъ въпросъ, съ съмнѣние и жалостъ, а майката, като погледна въ лицето на сина си, съгледа по него изражението, което ѝ се виде познато: въ паметъта и въскрѣсна слънчевия дѣнь на неотдавнашната пролѣтъ, когато нейния синъ лежеше на брѣга на рѣката, прѣтрупанъ отъ твърдитѣ ясниѣ впечатлѣния на пролѣтната природа.

Но сега туй изражение само мигновено прѣмина по лицето на Петра. Въ стаята се подигна шуменъ разговоръ. Старецътъ Ставрученко обгърна младия музикантъ въ силнитѣ си прѣгрѣдки.

— Много хубаво свиришъ, Бога ми, по нашински свиришъ, хубаво!

Младитѣ хора, още развълнувани и въодушевени, стискахъ рацѣтѣ на слѣпия. Студентътъ му прѣдсказваше широка и славна артистическа извѣстность.

— Да, туй е истина! — потвърди по-стария братъ. — Вие доста добрѣ сте успѣли да схванете истинския характеръ на народната мелодия. Вие сте се запознали съ нея и напълно сте я схванали. Но кажете ми, моля ви се, каква пиеса свирѣхте напоследѣкъ?

Петъръ назова една италиянска пиеса.

— И азъ тѣй прѣдполагахъ, — отговори млади човѣкъ. — Тя ми е до нѣгдѣ позната... Вие имате чуденъ оригиналенъ маниеръ. Мнозина я свирѣхъ по-добрѣ отъ васъ, но още никой не я изсвирвалъ тѣй, както вие.

— Защо пъкъ мислишъ, че други я свирѣтъ по-добрѣ?  
— запита го братъ му.

— Виждашъ ли... Азъ съмъ слушалъ да свирѣтъ самия оригиналъ... А туй... като че ли е прѣводъ отъ италиянския музикаленъ езикъ на малорусския.

Слѣпия слушаше внимателно. Сега за пръвъ пътъ той стана центръ на тѣзи оживлени разговори, и въ неговата душа затрепера за пръвъ пътъ гордото съзнание за неговата сила. И тѣй, слѣдвателно, и той може тѣй сжщо да направи нѣщо въ живота. Той сѣдѣше на столъ, рѣката му се опираше на нотната поставка, и между шумитѣ разговори ненадѣйно почувствува до тази си рѣка прикосновението на една гореща рѣка. То бѣше Евелина, която се доближи до него и, незабѣлѣзано като стискаше прѣститѣ му, тя му шепнѣше съ радостенъ ентузіазмъ:

— Чувашъ ли? и ти ще имашъ своя работа... Ако ти можеше да видишъ само, какво нѣщо правишъ съ хората чрѣзъ свирението си!...

Слѣпия затрепера и се исправи.

Никой не забѣлѣза тази кратка сцена съ исключение на майката. Нейното лице пламна отъ ясна червенина, като да бѣше получила първата целувка на младата и страстна любовъ.

Слѣпия сѣдѣше все на сжщото си мѣсто съ блѣдно лице. Той се борѣше съ настѣпающитѣ впечатлѣния на новото неочаквано щастие, а, може би, че чувствуваше тѣй сжщо приближението на една буря, която се повдигаше отъ дълбочината на неговия мозъкъ въ видъ на безформени и тъмни облаци.

---

## ГЛАВА VI.

### I

На другия ден слѣпия се събуди рано. Въ стаята бѣше тихо, въ къщи не бѣше се почнало още дневното движение. Прѣзъ прозореца, който стоеше прѣзъ нощъта отворенъ, влизаше отъ градината утрената прохлада. Той още не можеше да си спомни вчерашнитѣ събития, но цѣлото му същество бѣше прѣпълнено отъ едни нови, непознати усѣщания.

Нѣколко минути той лежа въ постелята си, като се заслушваше къмъ тихото чурѹликание на нѣкакво птиченце отъ градината и къмъ необикновеното чувство, което нарастваше въ неговото сърдце.

„Що бѣше това съ мене?“ — помисли той, и въ сжщото врѣме въ паметъта му прозвучаха думитѣ, които тя му бѣше казала вчера, на мръкване, при старата воденица: нимá ти никога не си помислювалъ за туй? . . . Какъвъ си глупавъ! . . .

Да, той никога не е помислювалъ за туй. Нейната близость му докарваше наслаждение, но до вчера той не съзнаваше туй, както ние не чувствуваме въздуха, който дишаме. Тѣзи прости думи вчера паднаха въ неговата душа, както пада единъ камъкъ отъ високо на една гладка водна повърхность: прѣди една минута тя бѣше още гладка и спокойно отражаваше слънчевата свѣтлина и синото небе . . . единъ ударъ и тя се развълнува до самото дъно.

Сега той се събуди като прѣроде ъ и тя, неговата прѣдишна приятелка, му се показваше въ съвсѣмъ нова свѣтлина. Като си припомняваше всичко, което стана вчера, до най-малкитѣ подробности, той се заслушваше съ удивление къмъ тона на нейния „новъ“ гласъ, който въображението запази въ неговата паметъ. „Какъвъ си глупавъ! . . .“

Той бърже скочи отъ постелята, облече се и тръгна по роснитѣ пътечки на градината къмъ старата воденица. Водата шумѣше, както вчера, и тѣй сжщо си шепнѣха клонетѣ на гж-стака, само, че вчера бѣше тъмно, а сега свѣтѣше яркото слънце. И никога „не е чувствувалъ“ той до сега слънчевата



свѣтлина така ясно. Виждаше се, че заедно съ усѣщанieto на влажния аромат и съ утрения прохладенъ вѣздухъ прониквахъ въ него тѣзи смѣлющи се лъчи на веселия день, които дразнѣхъ неговитѣ нерви.

## II.

Но заедно съ това радостно възбуждение начеваше да се поражда въ дълбочината на сърдцето му едно друго чувство. То нѣмаше опрѣдѣлена форма. Той даже и не го съзнаваше отначало, но при все това, още отъ първитѣ дни то се впиташе въ неговото настроение, както се впитва незабѣлѣвано единъ тъженъ аккордъ въ една весела пѣсенъ. То се набираше нѣгдѣ въ душевната дълбочина, както се набира въ небесния просторъ единъ тъменъ облакъ отъ едно малко облаче, и както облакътъ расте, се налива въ дъждъ, тѣй и то въ — съзвѣи. Като нарастваше все повече и повече, това ново чувство тѣй завладѣ неговата душа, щото по нѣкой път то покриваше всичко останало.

Не отдавна още нейнитѣ думи звучехъ въ неговитѣ уши, възкрѣсвахъ прѣдъ него всичкитѣ подробности на първото обяснение, той чувствуваше подъ рѣцѣтъ си коприненитѣ и коси, чуваше до своитѣ гърди тупанието на нейното сърдце. И отъ всичко това се съставляваше извѣстенъ единъ образъ, който караше радостно да тупа неговото сърдце. Сега нѣщо безформено, както тѣзи призрaци, които обитавахъ въ неговото тъмно въображение, удари въ този образъ съ смъртоносно повѣвание, и той изчезна, распиля се. Напраздно той отиваше при воденицата и прѣстояваше тамъ по цѣли часове, като се стареаше да си припомни нейнитѣ думи, тона на гласа ѝ, нейнитѣ движения. Той не можеше вече да ги съедини въ онова хармоническо цѣло отъ чувства, което владѣеше на първо време въ него. Още отъ самото начало на джното на туй чувство лежеше единъ зародишъ отъ едно друго неопрѣдѣлено нѣщо, и сега туй „друго нѣщо“ се растилаше надъ него, както се растила единъ дъждовенъ облакъ по хоризонта.

Сега звуковетѣ на нейния гласъ угаснахъ, потъмнѣхъ всичкитѣ впечатлѣния отъ щастливата вечеръ и на тѣхно мѣсто вѣеше една празднина. А насрѣща тази празднина отъ самата

дълбочина на душата на слѣпия се подигаше нѣщо съ тежко усилие, за да я запълни.

Той искаше да я *види*!

Силния ударъ, който разбуди отъ спокойния сънъ врѣмено утихналитѣ млади сили, събуди, заедно съ туй, и онази фатална сила, въ която лежахъ зачатъцитѣ на безкрайни страдания.

Той я обичаше и искаше да я види!

### III.

Гоститѣ си отидохъ, и всичко въ къщата на Попелски тръгна по старому, само настроението на слѣпия съвсѣмъ се бѣше промѣнило. Той стана промѣнчивъ и нервозенъ. Само по н кога, когато единичнитѣ моменти отъ неговото щастие излизахъ прѣдъ него живи и ясни, той до нѣгдѣ се съживяваше и лицето му се изясняваше. Но туй се продължаваше не дълго врѣме, а подирѣ и тѣзи свѣтли минути приехъ нѣкакъвъ неспокоенъ характеръ: виждаше се, че слѣпия се боеше, че тѣ ще изчезнатъ и никога вече нѣма да се възвърнатъ. Туй придаваше на неговитѣ маниери единъ безпокоенъ характеръ: минутитѣ на живота радость, на безпрѣдѣлната пѣжностъ и силното нервно възбуждение се смѣнявахъ понѣкога съ потисната по цѣли дни наредъ тъмна скръбъ. Най послѣ, лошитѣ опасавания на майката се сбъднахъ: къмъ нейното момче се възвърнахъ безпокойнитѣ сънища на дѣтинството му.

Една заранъ Анна Михайлова влѣзе въ стаята на сина си. Той още спѣше, но сънътъ му бѣше нѣкакъ неспокоенъ: очитѣ му бѣхъ полуоткрити и тъмно гледахъ прѣзъ наполовинъ-отворенитѣ клепачи, лицето му бѣше блѣдно и по него се изразяваше едно голѣмо безпокойствие.

Майката се спрѣ, и гледаше сина си съ внимателенъ погледъ, като се стараеше да открие причината на неговото чудно неспокойствие. Но тя виждаше само, че това неспокойствие нараства и по лицето на спящия се показваше все поясно и поясно едно изражение на напръгнато усилie.

Изведнажъ тя съгледа надъ неговия креватъ едно едвамъ забѣлѣзвано движение; свѣтлия лъчъ, който грѣеше на стѣната надъ възглавницата, като че затрепера и полегка слѣзна на

долу. Малко по малко... свѣтлата ивица тихо се приближаваше къмъ полуотворенитѣ очи, и заедно съ нейното приближаване безпокойствието на спящия все повече и повече нарастваше.

Анна Михайлова стоеше неподвижно въ едно състояние, което е близо до занематяване и не можеше да отстрани уплашения си погледъ отъ огнената ивица, която както ѝ се чинѣше, съ лежки, но все така забѣлѣзвани движения все повече и повече се доближаваше къмъ лицето на сина ѝ. И това лице ставаше все по-блѣдно, по него застиваше едно изражение отъ напръгнато усилие. Ето че жълтия отблѣсъкъ заигра въ неговата коса, челото му взе да се сгрѣва. Майката цѣла се владе на напръдъ, като се стремѣше инстинктивно да го защити, но нозѣтъ ѝ не искаха да я слушатъ. Между това, клепачитѣ на спящия съвсѣмъ се отвориха, въ неподвижнитѣ зеници лъчитѣ възъха да се отражаватъ, а главата му се повдигна отъ възглавницата. Нѣщо като усмивка или плачъ конвулсивно прѣмина по устнитѣ му и цѣлото му лице пакъ утихна неподвижно.

Най послѣ майката надви неподвижността, която бѣше сковала нейнитѣ членове и, като се приближи до кревата, турна си ръката на неговата глава. Той трепна и се събуди.

— Мамо, ти ли си? — попита той.

— Да, азъ съмъ.

Той се повдигна. Виждаше се, че нѣкакъвъ тежъкъ облакъ покриваше още неговото съзнание. Но слѣдъ една минута той каза:

— Азъ *видяхъ* пакъ единъ сънъ... Азъ сега често пѣти виждамъ сънища, но веднага ги забравямъ...

#### IV.

Тѣй се измина повече отъ една година. Тъжна печаль се мѣнѣше въ настроението на юноша съ нервна раздражителност и наеднѣ съ това неговитѣ чувства още повече се изостриха, усѣщанията му достигнаха една извънредна тънкость. Неговия слухъ се изостри много, той усѣщаше свѣтлината съ цѣлия си организмъ; и туй се забѣлѣзваше даже и нощъ: той можеше да различава луннитѣ нощи отъ тъмнитѣ безлунни и

много пъти той прѣсѣляваше дълго врѣме на двора, когато всички у дома спѣхъ, неподвиженъ и наскърбенъ, като се прѣдаваше на необикновеното дѣйствие на мечтателната и фантастическа лунна свѣтлина. При това блѣдното му лице винаги се обръщаше къмъ огненото кълбо, което плуваше по синето небе, а очитѣ му отражаваха искрѣстия отблѣскъ на хладнитѣ лъчи.

Когато това кълбо, нараствайки съ приближението си до земята, се затуляше отъ единъ тежъкъ червенъ облакъ и тихо се скриваше задъ хоризонта, лицето на слѣпия ставаше по спокойно. Той ставаше и си отиваше въ стаята.

За какво мислѣше той въ тѣзи дълги нощи, трудно е да се каже. Всѣкой въ тази възраст, който само е вкусилъ отъ радоститѣ и мжитѣ на единъ съзнателенъ животъ, прѣживѣва въ по-голѣма или по-малка степенъ състоянието на единъ душевенъ кризисъ. Когато човекъ достигне границата, гдѣто вече се начева работния и трудния периодъ, той се старае да опрѣдѣли своето мѣсто въ природата, своето значение, своитѣ отношения къмъ околния свѣтъ. Туй е единъ видъ „мъртва точка“, и нека благодари на сѣдбата онзи, който прѣмине прѣвъ тази точка, бѣвъ да прѣтърпи нѣкакъвъ ударъ. Този душевенъ кризисъ на Петра се усложняваше още повече: къмъ въпроса: „защо живѣе човекъ на свѣта?“ — той прибавяше: „защо нѣкъ живѣе слѣпия човекъ?“ Най-послѣ, въ самата тази неблагоприятна мислена работа испъкваше още нѣщо чуждо, нѣкакъвъ си физически натискъ на една ненаситена нужда, и този свойственъ нему натискъ се отражаваше дори и върху неговия характеръ. Той взѣ все повече и повече да живѣе осамотено и по нѣкога даже Евелина не знаеше, дали трѣбва да почне разговоръ съ него въ такива едни мрачни минути.

— Мислишъ ли ти, че азъ те обичамъ? — попита я той единъ пътъ.

— Азъ го зная туй, драгий мой — отговори тя.

— Да, но азъ не знамъ — мрачно възрази слѣпия. — Да, азъ не знамъ. Попрѣди азъ бѣхъ увѣренъ, че те обичамъ, по-вече отъ всичко на свѣта, но сега не знамъ. Остави ме, по-слѣдвай онѣзи, които те призоваватъ въ живота, догдѣто не е късно.

— Защо ме мъчиш? — излѣзе отъ нейнитѣ уста това тихо оплакване.

— Мъжъ ли те? попита слѣпия и по неговото лице се появи едно необикновено изражение отъ егоизмъ и страдание.

— Е, да, азъ те мъжъ. И ще те мъжъ по този начинъ прѣвъ цѣлия мой животъ, пъкъ и не можъ да не те мъжъ, Ти трѣбва да знаешъ туй нѣщо. Остави се . . . захвърлѣте ме всички, защото азъ можъ да дамъ само едно страдание въ замѣна на любовта . . . Азъ искамъ да виждамъ , — говорѣше той, когато настроението му до нѣкъдѣ се сметчаваше, — искамъ да виждамъ и не можъ да се освободѣ отъ това желание. Ако да можехъ само единъ пътъ да видѣ, макаръ и въ сънъ, небето и земята и ясното слънце . . . и подиръ да запомнѣ всичко това. Ако можехъ да видѣ, по такъвъ начинъ, майка си, баща си . . . тебе и Максима, азъ щѣхъ да бѣдѣ доволенъ, азъ немаше да се мъжъ повече.

И той съ голѣмо упорство се връщаше къмъ тази идея. Когато оставаше самитѣкъ, той взимаше въ рѣцѣтъ си разни прѣдмети, пипаше ги съ необикновено внимание и подиръ, като ги оставяше на страна, стараяше се да си прѣдстави мислено изученитѣ форми. По сѣщия начинъ той се замислюваше и върху разликитѣ на яснитѣ, цвѣтни повърхности, които при едно по-голѣмо напругание на нѣжната нервна система, той схващаше доста ясно съ помощта на осезанието. Но всичко туй проникваше въ неговото съзнание само като едно понятие за различие въ тѣхнитѣ взаимни отношения, безъ всѣко опрѣдѣлено чувствено понятие. Сега той различаваше дори и слънчевия день отъ нощния мракъ само поради това, че дѣйствието на ясната свѣтлина, която проникваше въ мозъка му по недостатъчни за съзнанието пътища, по-силно възбуждаше неговитѣ мъчителни стремлѣния.

## V.

Единъ день, като влѣзе въ приемната стая Максимъ, завари тамъ Евелина и Петра. Момичето виждаше се, че бѣше смутено. Лицето на слѣпия бѣше мрачно, и старецътъ забѣлѣза по него слѣди отъ оная зловна скръбъ, свойствена на слѣпия отъ нѣкое врѣме насамъ. Виждаше се, че бѣше станало

за него почти като необходима нужда, да търси неговите причини за страдание и да мисли съ тяхъ както себе си, тъй и другитѣ.

— Пита ме. — каза Евелѣна на Максима. — какво се разбира подъ изражението „червенъ звънъ“ (звънтене). Азъ не мога да му обясня.

— Въ що се състои работата? — попита Максимъ Петра. Той си сви рамената.

— Нищо особено. Но ако у звуковетѣ има двиѣтъ и азъ не го виждамъ, то, значи, че даже и звуковетѣ не ми са напълно достъпни.

— Глупости. — отговори Максимъ. — И ти самъ добръ знаешъ, че туй не е истина. Звуковетѣ на тебе сж достъпни въ по-голѣма пълнота, отъ колкото намъ.

— Но какво може да означава туй изражение?... Па най-послѣ то трѣбва да означава нѣщо?

Максимъ се замисли.

— Туй е просто едно сравнение, — каза той. — Тъй като и звукътъ и свѣтлината въ сжщностъ се сдѣждатъ къмъ движението, т. е. сж движение на частицитѣ, то у тяхъ трѣбва да има много общи свойства.

— Какви свойства се разбиратъ тукъ? — продължаваше упорно да пита слѣпия. — „Червенъ звънъ“... какъвъ е именно той?

Максимъ се замисли.

Дойде му на умъ да вземе да му обясни туй нѣщо съ помощта на отношението на количеството на трептенията, но той знаеше, че това не е нужно на слѣпия. При това, този, който првъ е употрѣбилъ епитета на свѣтлината и за звука, навѣрно, не е знаелъ фазиката, а, при все това, забѣлѣзалъ известно сходство по между тяхъ. Въ какво именно се заключава туй сходство?

Въ главата на Максима изникна нѣкакво прѣдставление.

— Постой, — рече му той. — Не знамъ, обаче, да ли ще сполуча да ти обясня както трѣбва... Що нѣщо се разбира подъ изражението червенъ звънъ, ти ще разберешъ не по-лошо и отъ мене: ти си го чувалъ не веднажъ въ градоветѣ по голѣмитѣ празници, само че у насъ не се употрѣбжава туй изражение...

— Да, да, постой, — рече Петръ бърже, като отваряше пианото.

Той удари съ искусната си ръка по клавишите, като подражаваше на празничното биение на камбаните. Иллюзията бѣ сполучлива. Единъ аккордъ отъ нѣколко не високи тонове съставляваше единъ видъ като основа, а надъ нея се издигахъ, играехъ и треперѣхъ, високи ноти по-подвижни и по-ясни. Изобщо то прѣдставляваше именно онова високо и възбудено радостно гъмжение, което изпълва празничния въздухъ.

— Да, — рече Максимъ, — туй доста прилича и ние, които сме съ отворени очи, не бихме могли да схванемъ туй нѣщо по-добрѣ, отъ тебѣ. Ето на, виждашъ ли . . . когато азъ гледамъ въ нѣкоя голѣма червена повърхность, тя произвежда на очитѣ ми сѣщо такъво безпокойно впечатлѣние, както когато трепти нѣкое пѣргаво тѣло.

— Туй е вѣрно, вѣрно! — живо рече Евелина. — Азъ сама чувствавамъ сѣщото и не можъ да гледамъ дълго време на нѣкой червенъ платъ . . .

— Така сѣщо, както нѣкои не могатъ да прѣнесатъ празничното биение на камбаните. Ето на, че мойто сравнение излиза вѣрно, и менъ ми дохожда на умъ едно друго съпоставление: съществува тѣй сѣщо „малиновъ“ звънъ, както и малиновъ цвѣтъ. И двата тѣ сѣ близки къмъ червения, но само, че сѣ по-дълбоки, по-гладки и по-межки. Когато едно звънче е било дълго време въ употребление, тогава то, както казватъ нѣкои любители, зазвънва. Въ неговия звукъ изчезватъ негладкитѣ звукове, които дразнятъ ухото и тогава именно този звънъ наричатъ малиновъ.

Подъ ръцѣтѣ на Петра пианото зазвънтѣ подобно на дрънканieto на звънчетата, които окачватъ на пощенскитѣ коне.

— Не, — рече Максимъ. — Азъ бихъ казалъ, че туй е твърдѣ червено . . .

— А, помни!

И инструментътъ зазвънтѣ еднакво. Звуковетѣ които начевахъ високо, живо и ясно, ставахъ все по-дълбоки и по-межки: тѣй звънтѣтъ и звънчетата по огърлицата на руската тройка\*), която се отдалечава по прашния пътъ тихо, равно,

\*) Кола, вървѣщата съ три коня.

безъ силни удари, най-послѣ все по-тихо и по-тихо, до като послѣднитѣ ноти не исчезнатъ въ тишината на спокойнитѣ полета.

— Ето на, виждашъ ли? — рече Максимъ. Ти си разбралъ разликата. Едно врѣме, когато бѣше още дѣте, майка ти се стараеше да ти обясни цвѣтоветѣ чрѣзъ тонове.

— Да, азъ помня! — Защо ѝ запрѣти тогази да продължава? Може би, азъ щѣхъ да успѣя да разбера.

— Не, — замислено отговори старецътъ, — нищо нѣмаше да излѣзе. Обаче, азъ мисля, че изобщо на извѣстна душевна дълбочина впечатлѣнията отъ цвѣтоветѣ и отъ звуковетѣ се напластватъ, като еднородни. По нѣкога ние напр. казваме: той вижда всичко въ рововъ цвѣтъ. Туй показва, че чловѣкъ е въ радостно настроение. Туй сжщото настроение може да се прѣдизвиква и отъ извѣстно сгруппиране на звуковетѣ. Изобщо, звуковетѣ и цвѣтоветѣ се явяватъ като символи на еднакви душевни движения.

Старикътъ запуши лулата си и внимателно поизгледа Петра. Слѣпия сѣдѣше неподвижно и, очевидно, жадно ловѣше всѣка дума на Максима. „Да продължавамъ ли?“ — помисли старецътъ, но подиръ една минута той захвана нѣкакъ замислено, като да се прѣдава неволно на чудното направление на мислитѣ си:

— Да, да! Чудни мисли ми идватъ въ главата... Случайностъ ли е туй или не, че кръвта у насъ е червена. Виждашъ ли... когато въ твойта глава се поражда извѣстна мисълъ, когато виждашъ сънища, отъ които, като се събудишъ, трепериншъ и плачешъ, когато ти си обладанъ отъ нѣкоя страсть, — туй значи, че кръвта отъ сърдцето се тика по-силно и залива мозъка съ червени струи. Да, и тя е въ насъ червена...

— Червена... топла... рече слѣпия замислено.

— Имено — червена и топла. И ето защо, червения цвѣтъ, както и „червентѣ“ звукове, оставя въ нашата душа свѣтливо възбуждение и прѣдставление за старостта, която при това се нарича „гореща“. Тѣй сжщо и другитѣ цвѣтове... Небето, напярмѣръ, е синьо, и синия цвѣтъ ни дава прѣдставление за спокойна ясност.

Максимъ, обиколень отъ синъ димъ, продължаваше да говор и



— Ако махнешъ съ ръка надъ главата си то ти ще опишешъ надъ нея единъ полукръгъ. Сега прѣдстави си, че твойта ръка е безкрайно дълга. Ако ти можеше тогава да махнешъ съ нея, то щѣше да опишешъ единъ полукръгъ на безкрайно отдалечено расстояние... толкова далече и ние виждаме надъ себе си небесния сводъ; то е гладко, безкрайно и синьо... Когато ний го виждаме таквозъ, въ душата си усѣщаме спокойствие и ясностъ. Когато пъкъ небето се покрие съ черни и тъмни облаци, тогава и нашата душевна ясностъ се размътва отъ едно неопрѣдѣлено вълнение. Ти, нали, усѣщашъ когато се приближава нѣкой таквъ облакъ...

— Да, азъ усѣщамъ, като че ли нѣщо вълнува душата ми...

-- Туй е вѣрно. Ние очекваме съ нетърпѣние, кога ще прогледне пакъ прѣзъ облацитѣ синьото небе. Бурята ще прѣмине, а небето ще си остане надъ нея все сѣщото; ние знаемъ туй нѣщо и поради това спокойно прѣнасяме бурята и дъжда. Тѣй щото сега виждашъ, наприкладъ, небето е синьо... Морето е тѣй сѣщо синьо, когато е спокойно очитѣ на майка ти сѣ сини, тѣй сѣщо и на Евелина.

— Като небето... — нѣжно каза слѣпия.

— Да. Синитѣ очи се смѣтатъ за признакъ на ясна душа. Сега азъ ще ти разправя за зеления цвѣтъ. Ето напр. тукъ на скоро измина пролѣтъта... сега е лѣто, и повърхността на земята е почти цѣла покрита съ зелена трѣва. Земята само по себе си е черна, черни и влажни сѣ прѣзъ пролѣтъта и клоноветѣ на дървесата; но щомъ топлитѣ и свѣтли лъчи сгрѣбятъ тъмнитѣ имъ повърхности, отъ тѣхъ изскача навѣнъ зелена трѣва, зелени листа. Зеленината се нуждае отъ свѣтлина и топлина, но само че умерено, не съвсѣмъ много. Поради това зеленината е тѣй приятна на очитѣ. Зеленина — то е като че ли топлина смѣсена съ прохладната влага; тя възбужда у насъ прѣдставление за спокойствие, здравие, но не за старостъ и не за това, което хората наричатъ щастие... Разбирашъ ли?

— Н-не... не ми е ясно, но при все това, моля те, продължавай.

-- Е, какво да се прави!... Слушай по-нататъкъ. Когато лѣтото взима да става все по-топло и по-топло, зеленината като че изнемошава отъ излишъкъ на жизнена сила, ли-

стата уморени увисватъ на долу и, ако слънчевия пекъ не би се охлаждалъ до нѣждѣ отъ прохладния дъждецъ, то тѣ могатъ съвсѣмъ да увѣхнатъ. Но за туй пѣкъ кждѣ есенъ, когато листата сж вече уморени, плодътъ захваща да зрѣе и да червенѣе. Плодътъ червенѣе къмъ онази страна, гдѣто има повече свѣтлина; въ него като че ли е съсредоточена всичката жизнена сила, всичката страсть на растителната природа. Ти виждашъ, че червения цвѣтъ и тукъ е цвѣтъ на страстта, и той служи за нейнъ символъ. То е цвѣта на изнѣжеността и упоението, цвѣта на грѣха, яростта и гнѣва, той е емблема на неумолното възмездие. Не напразно народнитѣ маси, обладани отъ страстта, търсятъ изражение на общото чувство въ червеното знаме, което се развива надъ тѣхъ, като пламъкъ ... Но ти пакъ не ме разбирашъ?

— Нищо не значи то, продължавай!

— Дохажда късната есенъ. Плодътъ е натегналъ, той се откъсва и пада на земята ... Той умира, но въ него живѣе сѣмето, а въ това сѣме живѣе въ „възможността“, да попадне то на благоприятни условия, и цѣлото бѣдѣще растение, съ неговата бѣдѣща зеленина и съ неговия новъ плодъ. Сѣмето пада на земята, а надъ земята вече ниско се издига хладното слънце, духа студенъ вѣтръ, по небото вървятъ влажни облаци ... Животътъ, страстта утихватъ незабѣлъзано ... Изъ подъ зелинината земята захваща да се чериѣ все повече и повече ... и най-послѣ, ето, че настѣпва донѣтъ, когато надъ тази усмирена и утихнала, като че ли овдовѣла, земя падатъ милиони снѣжни кристалчета, и цѣлата тя става гладка, едноцвѣтна и ... бѣла. Бѣлия цвѣтъ — то е цвѣта на студения снѣгъ, то е тѣй сѣщо цвѣта на високитѣ облаци, които плаватъ въ недосегаемитѣ студени поднебесни височини, — цвѣта на величественитѣ и безплодни планински височини ... Този цвѣтъ е емблема на безстрастието и на студената, величествена свѣтостъ, емблема на бѣдѣщия безплътенъ животъ. Колкото се отнася до черния цвѣтъ ...

— Знашъ, — прѣкъсна го слѣпия. — То значи, че нѣма никакви звукове, нѣма движения ... нощъ ...

— Да, и поради това, този цвѣтъ е емблема на смъртта ...

Петръ потрепера и каза глухо:

— Ти самъ каза: емолема на смъртта. А пакъ за мене всичко е черно... всѣкога и на всѣкѣждѣ черно!

— Не е истина, живо отговори Максимъ, — за тебе съществуватъ звукове, топлина, движение...

— Да, отговори слѣпия замислено. — Туй е вѣрно, азъ знамъ сега, напримѣръ червенитѣ звукове, и синитѣ и гордѣливитѣ бѣли тонове, които се носятъ нѣгдѣ—тамъ въ недосежитѣ височини. Но отъ всички най-близки ми се виждатъ тъмнитѣ звукове на скръбта, които се растилатъ ниско надъ земята. Ти, мисля, знаешъ, че азъ не се радвамъ, като свиря... Азъ плача,

— Послушай ме, Петре, — рече му сериозно старецътъ, като се повдигна отъ мѣстото си. — Въ стрѣмлението си къмъ недостижими нѣща ти забравяшъ онуй, което се намира подъ твоитѣ рѣцѣ и което е много по-сѣжно. Спомни си само, че ти си обиколень отъ любящи сърдца... Но ти не забѣлжавашъ това и страдашъ тѣй силно само поради това, че се носишъ доста егоистично само съ своята скръбъ...

— Да! — извика Петръ страстно, — азъ правя туй поневоля: на кѣдѣ можъ да избѣгна отъ нея, когато тя е на всѣкѣждѣ съ мене?

— Ако да можеше само да разберешъ, че на свѣта има скръбъ сто пати по-голѣма отъ своята, — такъва скръбъ, въ сравнение съ която твой животъ, обезпечень, окръженъ съ любовъ и участие, може да се нарече блаженъ, — тогава...

— Не е истина, не е истина! — гнѣвно го прѣкъсна слѣпия съ сѣщия страстно възбудень тонъ. — Азъ бихъ си развѣнилъ живота съ тоя на най-последния бѣденъ и слѣпъ, защото той е много по-щастливъ отъ мене. Пакъ и слѣпитѣ съвсѣмъ не трѣбва да се обиколяватъ толкози много съ грижи: това е една погрѣшка... Азъ съмъ размислялъ често пати върху туй нѣщо. Слепитѣ трѣбва да се извеждатъ на пята и да се оставятъ тамъ, — нека си испросватъ милостиня. Ако да бѣхъ азъ просто единъ слѣпецъ — просѣкъ, то щѣхъ да съмъ по-малко нещастень. Отъ заранъ до вечеръ азъ щѣхъ да мисля само за това, какъ да си добиѣмъ храна, щѣхъ да прѣброявамъ постоянно петачетата, които хората щѣха да ми даватъ и щѣхъ да се боѣ, че тѣ сѣ малко. Подирѣ щѣхъ да се радвамъ на

сполучливо събранитѣ пари и щѣхъ да се стараж да си на-  
мѣрихъ прибѣжище за прѣзъ нощъта. А ако не ми се удадѣше  
това, то азъ щѣхъ да страдамъ отъ гладъ и студъ . . . и всичко  
туй нѣмаше да ме остави нито една минута не застъ съ дрѣв-  
нитѣ дневни грижи, а отъ лишенията азъ щѣхъ да страдамъ  
по-малко, отъ колкото страдамъ сега . . .

— Мислишъ ли? — попита го студено Максимъ и по-  
гледна Евелина. Въ старческия погледъ се забѣлѣзваше съжа-  
ление и съчувствие. Момичето сѣдѣше сериозно и блѣдно.

— Твърдо съмъ увѣренъ въ това, — отговори твърдо и  
опърничаво слѣпия.

— Нѣма що да сторж, — тъй също студено каза ста-  
рецьтъ. — Може би да имашъ право. Въ всѣки случай, ако  
би ти било по-лошо, то може би, ти самъ щѣше поне да бж-  
дешъ по-добъръ човѣкъ. Сега ти си просто егоистиченъ.

Старецьтъ хвърли още единъ пътъ съжалителенъ погледъ  
къмъ момичето и си излѣзна отъ стаята, като тропаше съ па-  
терицитѣ си.

## VI

Слѣдъ този разговоръ душевното състояние на слѣпия се  
наостри още повече. Виждаше се, че разказитѣ на Максима,  
на които той самъ не придаваше особено значение, докоснахъ  
нѣщо въ душата на Петра и той още повече се вдълбочи въ  
мжчителната си работа.

По нѣкога той усиѣваше да се вдълбочи и тогава нами-  
раше за единъ мигъ онѣзи усѣщания, за които му бѣше гово-  
рилъ Максимъ, и тѣ се присъединявахъ къмъ пространстве-  
нитѣ му прѣдставления. Тъмната и скърбна земя изчезваше нѣ-  
къдѣ на далѣче; той търсѣше да я измѣри и не можеше да ѝ  
намѣри края. А надъ нея имаше нѣщо съвсѣмъ друго . . . Въ  
въспоминанието му захващаше да се носи силния гръмъ, и ис-  
качаше прѣдставлението за ширината на небесното пространство.  
Подирѣ гръмътъ прѣставаше, но нѣщо тамъ, горѣ, оставаше, —  
нѣщо, което породи въ душата едно усѣщание на величие и  
ясностъ. По нѣкога туй чувство приемаше една по-опрѣдѣлена  
форма: къмъ него се присъединяваше гласътъ на Евелина и на  
майка му, „очитѣ на които бѣхъж както цвѣта на небото“, то-

гава възникналия образъ, който се издигваше отъ далечната дълбочина на неговото въображение и който ставаше доста опрѣдѣленъ, изведнажъ се изгубваше, като прѣминаваше въ друга областъ.

— Всички тѣзи гъмни прѣдставления го мачеха, безъ да го удовлетворятъ. За тѣхъ той употреби голѣми усилия и тѣ бѣха тѣй неясни, щото изобщо той чувствувахе една само неудовлетвореностъ и тежка душевна болка, която придружаваше всички движения на неговата болна душа, която напраздно се стараеше да възстанови пълнотата на своитѣ усѣщания, да замѣсти едното чувство, което му липсваше.

## VII.

На разстояние шестдесетъ километра отъ чифлика на Попелски, въ единъ малкъ градецъ, имаше една чудотворна католическа икона. Опитнитѣ по тѣзи работи хора опрѣдѣлиха съ голѣма точностъ въ какво се състои нейната чудотворна сила: всѣкой, който пѣшкомъ би дошелъ при иконата въ денъ на празника щѣлъ билъ да получи „двадесето-дневно разрѣшение“, т. е. всичкитѣ му грѣхове, които е направилъ въ продължение на двадесетъ дена не щѣли били на онзи свѣтъ да му се взиматъ въ внимание. Поради това всѣка година прѣвъ есенъта въ опрѣдѣления день малкия градецъ се съживяваше. Старата капелла се окичваше въ този празниченъ день съ зеленина и цвѣтя; цѣлия градъ ечеше отъ радостното и тържествено биение на камбанитѣ, „бричкитѣ“ на пановетѣ траскахъ по улицитѣ, а поклонницитѣ на гѣсти тълпи се разполагахъ по улицитѣ, на площадитѣ и даже на далече въ полето. Тукъ дохождахъ не само католици. Славата на Н-ската икона бѣше се разчула на далече и при нея дохождахъ тѣй също болни и недоволни православни, главно отъ градоветѣ, за да намѣрижъ тукъ помощъ на нуждитѣ си.

Въ самия день на празника отъ двѣтѣ страни на пята народътъ стоеше гѣсто нареденъ срѣщу капеллата и приличаше на върволица. На тогава, който би погледналъ на това зрѣлище отъ височината на нѣкой отъ хълмоветѣ, които се намирахъ около града, щѣше да се покаже, като да е това една гигантска змия, която се е расположила на пята къмъ капел-

лата и лежи тамъ неподвижна, и която само отъ врѣме на врѣме захваща да движи цѣтнитѣ си люспи. Отъ двѣтѣ страни на улицата заета отъ народа се бѣше наредилъ цѣлъ единъ роякъ просяци, които протягахъ рацѣтѣ си за милостиня.

Максимъ подпрѣнѣ на своитѣ патерици и до него Петръ, когото Яйкимъ водѣше за рака, тихо вървѣхъ на надолу по улицата. Тѣ бѣхъ дошли на панаиря и сега, слѣдъ като си бѣхъ накупили нѣкои необходими нѣща, тѣ бѣхъ потеглили за дома. Изведнажъ очитѣ на Максима свѣтнахъ: той бѣше съгледалъ нѣщо, което ненадейно обърна неговото внимание къмъ една мисль и той завърна въ една улица, която извеждаше на полето.

Говорѣтъ на многочислената тълпа, крещението на евреитѣ продавачи, гърмениято на екипажитѣ,—цѣлия този шумъ, който се разпространяваше както нѣкоя гигантска вълна, остана задъ тѣхъ. Но и тукъ, макаръ тълпата и да бѣше по-редка, чувахъ се стѣпки отъ пешаки, трѣкаляние на колелета, и усърдниятъ говоръ на тълпата.

Петръ невнимателно се услушваше къмъ цѣлия този радостенъ шумъ, като вървѣше подиръ Максима; той постоянно се загрѣщаше съ палтото си, понеже бѣше студеничко; и тукъ разнитѣ мисли, които се въртѣхъ въ неговата глава, не го напускахъ.

Но изведнажъ, посредъ тази негова егоистична съсредоточеностъ, нѣщо-си тъй силно завладе неговото внимание, щото той трепна и изведнажъ се спрѣ.

Послѣднитѣ градски къщи се свършвахъ тукъ. При самия изходъ отъ града въ полето благочестиви рацѣ въздигнали нѣкога единъ камененъ стълбъ съ една икона и единъ фенеръ, който само скрѣщаше отъ вѣтъра, но никога не биваше запалванъ. При подножието на този стълпъ сѣдѣхъ расположени на купъ нѣколко слѣпци — просяци, които бѣхъ испадени отъ тѣхнитѣ не слѣпни конкуренти отъ по-виднитѣ и добивни мѣста.

Тѣ сѣдѣхъ съ дървени панички въ рацѣтѣ си и отъ врѣме на врѣме нѣкой отъ тѣхъ захващаще жалната пѣсенъ:

— Дарувайте ме . . . за Бога . . .

Врѣмето бѣше студено, просяцитѣ сѣдѣхъ тукъ още отъ тъмни зори, изложени на студения вѣтръ, който духаше отъ полето. Тѣ не можехъ да се движатъ посредъ тази гѣста тълпа,

за да се сгрѣжтъ, и въ тѣхнитѣ гласове, които по редъ карахъ продължителната пѣсенъ, се чуваше горчивата жалба за тѣхното физическо страдание и за тѣхната безпомощност. Първитѣ думи бѣхъ още ясни и силни, но подирѣ отъ притиснатитѣ грѣди изливаше единъ само жалостенъ тонъ, като една въдишка, която утихваше съ тихо треперение отъ студа. При все това, и най-тихитѣ и послѣдни звукове на пѣсенъта, които почти се губѣхъ посреда владѣющия уличенъ шумъ, като достигвахъ до човѣческото ухо, дълбоко поразявахъ всѣкиго одного съ грамадността на заключеното въ тѣхъ (звуковетѣ) безпомощно страдание.

Петръ изведнажъ се спрѣ и поблѣднѣ; лицето му се искриви, като че ли прѣдъ него се появи нѣкакъвъ-си слуховъ призракъ въ видъ на това страдално ридание.

— Що има, уплаши ли се? — попита Максимъ. — Това сж онѣзи щастливи, на които ти прѣди малко завиждаше, — слѣпи-просяци, които просѣжтъ милостиня... Малко мръзнатъ, разбира се. Но пъкъ отъ туй, споредъ тебе, имъ е по-добрѣ.

— Да си вървимъ! — рече Петръ, като хващаше Максима за ръката и го молѣше.

— А, ти значи искашъ да си отидемъ! Въ твойта душа не се поражда никакво друго побуждение при вида на тия нещастници сега, гдѣто чуждо страдание се приближава до тебе. Ако би имъ хвърлилъ ти едно петаче, както всѣки минавачъ, — то и това би било една помощъ за тѣхъ отъ твоя страна. Но ти умѣешъ само да ялословишъ, съ пълненъ стомахъ завистливо да намалявашъ чуждата скърбъ, а сега искашъ да бѣгашъ отъ нея като нѣкоя нервозна нѣжна дама.

Петръ си наведе главата. Подирѣ, като извади кесията си отъ джеба, той се опати къмъ слѣпцитѣ. Като вървѣше съ тояжката си отпрѣдъ, той намѣри съ нея първия и послѣ потърси съ ръка дървената паничка и, като я намѣри, полегка пусна въ нея паритѣ си. Нѣколцина души, които минавахъ въ туй врѣме, се спрѣхъ и гледахъ съ очудване богато-облечения и красивия младъ господинъ, който съ опипване подаваше милостиня на слѣпитѣ, които тъй сжщо съ опипване я вземахъ. Максимъ гледаше навжсено Петра, а Яйкимъ доста се нажали и отри една сълза отъ очитѣ си.

— Стига толкова, господарю, защо си играете съ момчето, — продума той укоризнено на Максима. Между това, Петръ, съ блѣдно лице и съ покоренъ видъ, се приближи до стареца.

— Може ли сега да си вървимъ? — попита умолително слѣпия. — За Бога!...

Изведнажъ Максимъ се обърна и тръгна на долъ по улицата. Той се усѣщаше развълнуванъ отъ необикновения видъ на внука си и, като го наблюдаваше внимателно, питаше се, да ли не е постъпилъ той все пакъ грубо и жестоко съ слѣпия.

Петръ вървѣше подиръ него съ наведена глава и треперѣше. Единъ студентъ вѣтъръ вѣеше и помиташе праха отъ улицата.

### VIII.

Да ли бѣше отъ настинка, или отъ разрѣшението на дългия душевенъ кризисъ, или най-послѣ и отъ двѣтъ на купъ не се знае, но Петръ на другия день лежеше отъ една горѣща нервна трѣска въ постелята си. Той се мъчеше и тръшкаше въ постелята си съ искривено лице, отъ врѣме на врѣме се услужваше къмъ нѣщо и се стараеше да изхвъркне отъ кревата. Стария докторъ отъ градеца опитваше му пулса и говорѣше за студения есененъ вѣтъръ; Максимъ бѣше мраченъ, съ нависени вѣжди и мълчеливъ.

Болѣстътъ не бѣше легка. Когато настъпи кризисътъ, болния лежа нѣколко дена наредъ почти безъ да шавне. Най-послѣ младия организмъ надви болѣстътъ.

Една ясна есенна сутрина, единъ свѣтливъ слънчевъ лъчъ прѣмина прѣвъ провореца и огрѣ леглото надъ самата възглавница на болния. Анна Михайлова като виде туй нѣщо, каза на Евелина:

— Пустни пердето... Азъ тѣй се боя отъ тази свѣтлина...

Момчето се изправи, за да изпъли заповѣдта ѝ, обаче тя чу за прѣвъ пжтъ пакъ гласътъ на момчето, което шепнѣше тихо:

— Не, нѣма нищо. Моля ви се... оставѣте така... Двѣтъ жени се надвиснахъ радостно надъ него. .

— Чуваашъ ли ме?... Азъ съмъ тукъ!... — проговори майката.



— Да! — отговори болния и подирѣ млъкна като да искаше да си припомни нѣщо.

— Ахъ, да!... — започна той да говори тихо. — Колко страшно е това.

Евелина му затвори устата съ ржката си.

— По-тихо, по-тихо! Недѣй говори, вѣдно е за тебе.

Той притисна тази ржка къмъ устнитѣ си и я покри съ цѣлувки. Очитѣ му се напълнихъ съ сълзи. Той дълго врѣме плака и туй доста го улегчи.

— Да, — каза той, като си обръщаше лицето къмъ Максима, който влѣзна въ сжщата минута, — азъ нѣма да забравя твоя урокъ. Благодаря ти... Заедно съ съзнаването на чуждата скръбъ ти ме накара да съзнамъ своето собствено щастие. Дай Боже, да не забравя никога нито едното, нито другото.

Младия организмъ, като надви вече единъ път болѣстѣта, въ нейната рѣшителна точка бърже надви и нейния остатъкъ и скоро се оправаше. Подиръ двѣ недѣли Петръ бѣше вече на крака.

Той се бѣще много промѣнилъ. Силното нравствено потрѣсение бѣше прѣминало сега въ тихо замислювание и спокойна тѣга; бѣхъ се измѣнили дори и чертитѣ на лицето му, — въ тѣхъ не се забѣлѣзваше вече онова изражение на скрито ватрѣшно страдание.

Максимъ се боеше да не би това промѣнение да се укаже само врѣмено, при което вѣрваше да е то прѣдизвикано отъ туй само, че нервната система е била ослабната отъ болѣстѣта. Но се изминахъ доста мѣсеци, а настроението на слѣпия си оставаше все сящото.

Очевидно е, че въ него е произлѣзалъ нѣкакъвъ благотворенъ прѣвратъ: твърдѣ острото и егоистическо съзнание на лична скръбъ и страдание, което съзнание внасяше въ душата пасивностъ и което притѣсняваше и ослабяваше вродената енергия, сега затрепера и отстѣпа своето мѣсто на съзнанието (разбиранieto) на чуждата скръбъ. Туй съзнание изцѣряваше болната душа, като събуждаше въ нея енергия и мисли, които го заставлявахъ да трѣси исходъ въ съчувствието, въ съучастието... Той мислѣше за другитѣ, кроеше разни пла-

нове, задаваше си разни цѣли; неговия животъ се възраждаше, и искаше своитѣ права, болната душа оадравяваше отъ день на день и пускаше пъпки подобно на овѣхнало дърво, което се съживява отъ пролѣтния животворенъ въздухъ...

## ГЛАВА VII.

### I.

Когато Евелина обяви своето на родителитѣ си неизмѣнимо рѣшение да се омъжи за слѣпия, старата ѝ майка заплака, а баща ѝ слѣдъ като се помоли прѣдъ иконата каза, че споредъ неговото, убѣждение такъва е била именно Божиата воля, и че инакъ било съвсѣмъ невъзможно.

Направиха свадбата. За Петра се започна едно младо, тихо щастие, но прѣвъ туй щастие приникваше едно неопрѣдѣлено безпокойствие: въ щастливи минути той се усмихваше но тѣй, щото прѣвъ тази усмивка се виждаше скръбно сѣмнѣние, като да не счита това щастие за законо трайно. Когато му съобщиха, че, може би, той скоро ще стане баща, той посрѣщна това извѣстие съ едно уплашено изражение.

Обаче, настоящия му животъ, който прѣминаваше въ безпокойни мисли и грижи за жена му и за бъдещето му дѣтенце, не му даваше врѣме да се съсредоточова въ прѣдишнитѣ безилодни тѣги. По нѣкога, посредъ тѣзи грижи, въ неговата душа искачаше прѣдставлението за онова жалостно ридание на слѣпницитѣ-просѣци и сърдцето му се свиваше отъ болки и състрадание, а неговитѣ мисли приемаха едно ново направление.

По този начинъ, той стана по-малко чувствителенъ къмъ вънкашни впечатлѣния отъ свѣтлина, а прѣдишната му вътрѣшна работа утихна. Безпокойнитѣ органически сили заспаха; той не ги събуждаше съ съзнателно стрѣмление на волята си за да ги слѣе въ едно цѣло съ съвсѣмъ разнородни усѣщания. Но, кой знае, може би, душевния застои способствуваха на безсъзнателната органическа работа, и тѣзи тъмни, раздѣлени усѣщания съ по-голямъ успѣхъ си пробиваха едни къмъ други пътъ въ неговия мозъкъ. Тѣй напр., въ съна мозъкътъ често

нкти свободно създава такива идеи и картини, които той никога не може да създаде при участвуването на волята.

## II.

Въ тази същата стая, гдѣто едно врѣме су бѣше родилъ Петръ, владѣеше мѣтѣва тишина, която биваше само нарушавана отъ врѣме на врѣме отъ плача на едно дѣтенце. Бѣхъ се изминали вече нѣколко дена отъ рождението му и Евелина се бѣше вече оправила, но за туй чѣкъ Петръ прѣвъ тѣзи дни се показваше като да е обладанъ и притиснатъ отъ съзнанието за едно близко нещастие.

Докторътъ въ дѣтето на ръцѣ я се приближи заедно съ него до прозореца. Бърже отдърпна той пердето, и единъ свѣтливъ лъчъ се промъкна въ стаята; тогава той се наведе надъ дѣтето съ своитѣ инструменти. Петръ сѣдѣше на близу съ наведена глава, тѣй също умисленъ и неспокоенъ. Виждаше се, че той не дава никакво значение на докторскитѣ дѣйствия, като да знаеше резултата отъ по-прѣди.

— То, сигурно, е слѣпо, — повтаряше той. — Нему щѣше да е по-добръ да не се бѣше раждало.

Младия докторъ не отговаряше и мълчейки продължаваше своитѣ наблюдения. Най-послѣ, той остави на страна офталмоскопа и въ стаята прозвуча неговия увѣрителенъ и спокоенъ гласъ:

— Зеницата се съкращава... Дѣтето вижда!

Петръ затрепера и бърже скочи на крака. Туй движение показваше, че той е чулъ думитѣ на доктора, но, ако се съдѣше по изражението на неговото лице, той изглеждаше като да не може добръ да разбере тѣхното значение. Опрѣнъ съ треперящата си ръка на прозореца, той остана на мѣстото си съ блѣдно, обърнато на горѣ лице, неподвиженъ, виѣпененъ.

До тази минута той се намиралъ въ едно състояние на страно възбуждане. Той сега като че ли не чувствуваше и не владѣеше себе си, но, заедно съ това, всичкитѣ фибри въ него треперѣхъ отъ очакване и възбуждане.

Той съзнаваше тъмнотата, която го окръжаваше. Той я виде, чувствуваше я вънъ отъ себе си, въ всичката ѣ неизмѣримостъ. Тя се надвисваше надъ него и го притискаше, а той

я обхващаше съ своето въображение. Той застана на срѣща ѝ, като желаше за защита дѣтето си отъ нея, отъ това неизмѣримо, постоянно движущо се море отъ непроницаемъ мракъ.

И до като докторътъ мълчешкомъ върпеше своитѣ приготовления, слѣпия се намираше въ това състояние. Той и по-прѣди се боеше, но по-прѣди въ неговата душа имаше още признаци отъ надежда. Сега мъчителния и ужасенъ страхъ бѣше достигналъ най-високата си степенъ, възбуденитѣ му до крайностъ нерви бѣха опжнати, надеждата изчезна и лежеше скрита въ дълбочинитѣ на неговото сърдце. И изведнажъ тѣзи двѣ думи: „дѣтето вижда!“ — прѣвърнаха, промѣнихъ цѣлото негово настроение. Страхътъ изведнажъ изчезна, и надеждата мигновено се прѣвърна въ увѣреностъ, която освѣти повдигнатия душевенъ строй на слѣпия. То бѣше единъ неочакванъ прѣвратъ, единъ сжщъ ударъ, който се промъкна въ неговата душа като единъ пораазителенъ лжчъ, свѣтълъ като свѣткавицата. Двѣтѣ думи на доктора като да подпалиха въ неговия мозъкъ огнения пътъ . . . Като че ли нѣкоя искра прѣсна въ него и освѣтли послѣднитѣ тайни мѣста на неговия организъмъ . . . всичко въ него затрепера и самъ той трепна, както трепери една силно обтегната струна отъ внезапния ударъ.

И веднага слѣдъ този свѣтълъ лжчъ прѣдъ неговитѣ угаснали още прѣди рождението му очи се появиха необикновени свѣтли призраци. Бѣха ли това лжчи, или бѣха звукове той не искаше и не можеше да си даде смѣтка за това. Това бѣха звукове, които оживяваха, приемаха известна форма и свѣтѣха като лжчи, но само, както небесния сводъ върху ни, тѣ се движеха, както свѣтлото слънце по небето, тѣ се вълнуваха, както се вълнува, се движи, шепне и шуми стенната зеленина, тѣ се люлѣеха, както клончетата на замисленитѣ буки.

Това бѣше само въ първия моментъ, и само смѣсенитѣ усѣщания на този моментъ останаха въ паметта му. Всичко останало той забрави отпослѣ. Той само винаги настояваше и увѣряваше, че въ този моментъ е *видѣлъ*.

Какво именно е видѣлъ той, и какъ е видѣлъ, и дали дѣйствително е видѣлъ, — това остана неизвѣстно. Мнозина му казваха, че туй не е възможно, но той настояваше на своето, като увѣряваше, че е видѣлъ небето и земята, майка си, жена си, и Максима . . .

Нѣколко секунди стоя той съ повдигнато на горѣ и свѣ-  
тящо лице. Той бѣше така необикновенъ, щото всички неволно  
обърнахъ погледитѣ си къмъ него и всички наоколу утихнахъ.  
На всички се струваше, че човѣкътъ, който стои посре-  
дъ стаята, не е този сѣщия, когото тѣ тѣй добръ познавахъ, а  
нѣкой другъ, непознатъ. А онзи прѣдишния исчезна, окръженъ  
отъ ненадѣйно спуснатата се върху него тайна.

И той бѣше на самъ съ тази тайна въ течение на нѣколко  
секунди... Отъ послѣ отъ това му остана само едно чувство  
на удовлетворение и необикновена увѣреностъ, че той тогава  
е видѣлъ.

И възможно ли бѣше това да е станало наистина?

Възможно ли бѣше, щото тъмнитѣ, неясни и слаби усѣ-  
щания на свѣтлината, които търсѣхъ да се промъкнатъ въ  
тъмния мозъкъ по неизвѣстни пътища въ онѣзи минути, когато  
погледа съ цѣлата си душевна сила се стрѣми срѣщу тѣхъ,  
когато слѣпния цѣлъ треперѣше, — сега, въ момента на единъ  
ненадѣвенъ екстазъ, да сж се пробрали до мозъка, като единъ  
мжтенъ негативъ, като единъ мъгливъ отблѣскъ?

И да ли прѣдъ слѣпнитѣ му очи дѣйствително се показва  
синьото небе, и свѣтлото слънце, и бистрата рѣкчица съ ви-  
сочинката на брѣгътъ ѝ, на която височинка той е сѣдѣлъ  
толкова врѣме, прѣживѣлъ е толкова работи и тѣй често е  
плакалъ още като дѣте?...

Или въ неговия мозъкъ сж се появили въ видъ на фан-  
тастически призраци, непознати гори, простираха се на далечъ  
широки равнини и полета, люлѣеха се чудни дървеса надъ  
гладката повърхностъ на непознати рѣки, и слънцето, което  
огрѣваше тази картина съ ясната си свѣтлина, — онуй слънце,  
на което сж гледали безчислени поколения отъ неговитѣ  
прадѣди?...

И всичко това се появяваше въ видъ на безформени усѣ-  
щания въ онази дълбочина на тъмния му мозъкъ, за която  
Максимъ говорѣше, гдѣто и лжчитѣ и звуковетѣ се натрупватъ  
еднакво били тѣ весели или скърбни, радостни или тежни?...

И той отлослѣ само си припомняваше стройния аккордъ,  
който само за една минута прозвуча въ неговата душа, —  
аккордъ, въ който се заплетохъ въ едно цѣло всичкитѣ впе-

чатлѣния на неговия животъ, усѣщанието на природата и любовьта къмъ ближнитѣ?...

Кой знае?...

Той помни само, какъ тази тайна се спусна върху него и какъ тя веднага го остави. Въ този послѣденъ моментъ образитѣ-звукове се сплетохъ и смѣсихъ, като звѣнтѣхъ и се люлѣхъ, треперѣхъ и утихвахъ, както трепери и утихва една силно опъната струна: отъ начало високо и силно, подирѣ все по-тихо и по-тихо, едвамъ чувано и изчезвайки... Показваше се, че нѣщо се търкаля по единъ гигантски радиусъ по-далече и по-далече въ безкраенъ и тъменъ мракъ...

И утихна, замлъкна, изгасна.

Мракъ и мълчание наоколо... Едни тъмни и неопредѣлени призраци още се стремятъ да излѣзнатъ отъ дълбокия мракъ, но тѣ нѣматъ вече ни форма, ни тонъ, ни цвѣтъ... Само тамъ нѣгдѣ на далече зазвѣнтѣхъ тоноветѣ на гаммата, които въ стройни редове проценихъ непроницаемия мракъ и тъй сжщо се спуснахъ въ неизмѣримото пространство.

Тогава изведнажъ той чува вънкашнитѣ звукове въ тѣхната имъ обикновена форма, той чува земни звукове и тогава като че се събужда, но все още стои радостенъ и почти освѣтенъ, като притиска силно ржката на майка си и на Максима.

-- Що ти е? — потита го майка му съ растреперанъ и уплашенъ гласъ.

— Нищо... азъ мисля, че азъ... всички ви видохъ. Азъ... не спя?

— А сега? — развълнувано го попита тя. — Помнишъ ли още това? Нѣма ли да изчезне отъ паметъта ти?

Слѣпия дълбоко въздъхна.

— Не, — отговори той съ голѣмо, видимо усилие. — Но туй нищо не значи, защото... азъ дадохъ всичко туй... нему... на това дѣте.

Той се залюля и падна въ несвѣсть. Лицето му поблѣднѣ, но по него все още се заблѣжаваше отражението на радостно удовлетворение.

---

## ЕПИЛОГЪ.

Една многобройна публика се бѣше стекла въ Киевъ, въ врѣме на „Контрактитѣ“ (панаяря), за да чуе единъ оригиналенъ музикантъ. Той бѣше слѣпъ, но се разказвахъ разни чудеса за неговия музикаленъ талантъ. Контрактовата зала бѣше затова прѣпълнена съ посѣтители, и паритѣ, (прѣдначинени за нѣкаква-си благотворителна цѣль, неизвѣстна на публиката), които събираше единъ куцъ старецъ, роднина на свирача, бѣхъ доста много.

Въ залата настана гробна тишина, когато на естрадата се появи единъ младъ човѣкъ съ голѣми красиви очи и съ блѣдно лице. Никой не можеше да го познае, че е слѣпъ, ако тѣзи очи не бѣхъ тѣй неподвижни и ако не го водѣше за ржката една млада русса дама, споредъ както говорѣхъ, жената на музиканта.

— Никакъ не е чудно, че той произвежда едно такъво голѣмо прѣодоляюще и побѣждающе впечатлѣние, — говорѣше единъ отъ слушателитѣ на съсѣда си. — Той има една забѣлжителна драматическа външность.

Дѣйствително, това блѣдно лице съ замислено и внимателно изражение, тѣзи неподвижни очи, цѣлата му фигура прѣдрасполагахъ човѣка къмъ нѣщо особено, необикновено.

Свиранieto му напълно хармониране съ това впечатлѣние.

Южно-руската публика сбича въобще и цѣни своитѣ народни мелодии, но тукъ даже разнородната „Контрактова“ тълпа бѣше изведнажъ обвзета отъ увлекателния музикаленъ потокъ. Живото чувство на народната природа, оригиналната му тънка свръзка съ непосредственитѣ източници на народната мелодия излизахъ на явѣ, и се изразявахъ въ една чудна импровизация, която изскачашъ отъ-подъ ржцѣтъ на слѣпия музикантъ. Богата съ цвѣтове (бои), пѣргава и мелодична, тя се лѣеше като единъ бързъ потокъ, ту се подигаше като единъ тържественъ гимнъ, ту се разливаше подобно на една скърбна

народна пѣсенъ. Отъ врѣме на врѣме се чуваше като една гърмотевица, която се движи и търкаля по небесното пространство, и затихва нѣгдѣ на далечъ въ безкрайността, чуваше се какъ ечи тихо степния вѣтъръ, като пѣе своитѣ скърбни пѣсни за миналото, за подвижитѣ на намрѣлитѣ отдѣлни герои.

Когато той спрѣ, грѣмътъ отъ ржкоплесканията на въодушевената тълпа се разнесе изъ огромната зала. Слѣпия съдѣше съ наведена глава и се заслушваше очудено въ този необикновенъ и непознатъ гърмежъ. Но ето, че той повторно си вдигна ржцѣтѣ и удари по клавишитѣ. Въ залата веднага се възцари прѣдишната тишина.

Въ тази минута въ залата влѣзе Максимъ. Той внимателно огледваше тълпата, която сега бѣше обхваната само отъ едно чувство: всички бѣха си обърнали жаднитѣ и горещи погледи къмъ слѣпия.

Старецътъ слушаше и чакаше. Чинѣше му се, че тази могъща импровизация, която се излива тѣй свободно и легко отъ душата на музиканта, изведнажъ ще се прѣкрати, както по-прѣди — отъ единъ неспокоенъ и болѣзенъ въпросъ, който ще отвори една нова рана въ душата на неговия слѣпъ възпитаникъ. Но тоноветѣ р стѣха и уяквахъ, и ставахъ по-пълни и все по-силни и по-силни, тѣ малко по-малко завладѣвахъ сърдцата и душитѣ на многобройната трогната и треперяща тълпа.

И колкото по се заслушваше Максимъ, толкова по-ясно чуваше въ свирението на слѣпия нѣщо като познато.

Да, това е тя, шумната улица. Кипящата, гърмяща, пълна съ живостъ вълна се движи, раздробява се и мощно се излива изъ нея въ хиляди звукове. Тази вълна, този потокъ отъ животъ, ту се повдига, нараства, ту пакъ пада и става подобенъ на она отдалеченъ, непрѣстаненъ шумъ и викъ, но като си остава прѣвъ всякото врѣме спокоенъ и тихъ, безстрастенъ, хладенъ и безучастенъ.

Изведнажъ обаче силно трепна сърдцето на Максима. Отъ-подъ ржцѣтѣ на музиканта пакъ, както и по-прѣди прозвуча единъ стонъ.

Раздаде се, прозвуча и утихна, исчезна.



Но не, това не е вече стонъ поради собствената негова скърбъ, не е отгласъ на прѣдишното егоистическо страдание на слѣпия. Въ очитѣ на Максима се появиохъ сълзи. Сълзи имаше и въ очитѣ на неговитѣ съсѣди.

Въ залата царуваше сега една, тиха, но могъществена, плачуща и сърдцераздирателна нота, като се издигаше и отдѣляше отъ студения, хубавия, безстрастния, вълнующій се потокъ на уличния животъ.

Максимъ я позна, — жалостната оная пѣсень на слѣпциѣтѣ.

Дарувайте ме . . . за-а Б-о-о-га-а . . .

Като че ли гръмъ падна върху тълпата, и сърдцата на всички трепнахъ отъ звуковетѣ на този тихо замиращъ плачъ. Той отъ отдавна бѣше замръдъ, исчезналъ, но тълпата поразена, трогната отъ ужаса на жизнената правда, си оставаше още въ гробно мълчание.

Старецътъ наведе главата си и мислѣше:

„Да, той прогледа . . . На мѣсто слѣпотѣ и ненаситното егоистическо страдание той носи въ душата си чужда тага; той я чувствува, вижда я и е въ състояние да напомни на щастливитѣ за нещастнитѣ . . .“

И стария сълдатинъ все по-низко и по-низко си навеждаше главата. Той изпълни своя дългъ, довърши дѣлото си и не напразно живѣлъ на този свѣтъ; туй му говорѣхъ пълнитѣ сили, могъщитѣ тонове, които изпълвахъ залата и царувахъ надъ тълпата.

. . . . .

Тѣй дебютира слѣпия музикантъ.

**К Р А Й .**


## ПО-ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ ПОГРЪШКИ

Стр.	редъ	отгоръ	Напечатано	Чети
3	9	"	наведѣ	— наведе
5	11	"	дойдѣ	— дойде
7	1	"	налѣзѣ	— налѣзе
13	5	"	горещитѣ	— горещитѣ
14	10	"	бѣзпокойнитѣ	— безпокойнитѣ
27	2	"	заклѣване	— заклеване
28	1	"	тя спомни	— тя си спомни
28	19	"	физиономията	— физиономията
40	2	отдолу	самъ	— само
43	13	отгоръ	разговорката	— разговорната
44	1	"	старциитѣ	— старцитѣ
47	7	отдолу	Яростъ	— Ясностъ
56	6	отгоръ	органическа	— органическа
56	10	"	личитѣ	— личнитѣ
69	12	"	какво мислитѣ	— какво мислите
91	13	"	то въ — сълзи	— то — въ сълзи
94	21	"	бѣзъ	— безъ
101	7	"	недосеемитѣ	— недосегаемитѣ





Stanford University Libraries  
3 6105 124 450 359



G 3467  
K6V3

Stanford University Libraries  
Stanford, California

Return this book on or before date due.

--	--	--

